

Илья Юдачев

*Черная
рукопись*

18+

Илья Юдачев

Черная рукопись

«Автор»

2026

Юдачев И.

Черная рукопись / И. Юдачев — «Автор», 2026

По просьбе знаменитого поэта отставной полицейский разыскивает неуловимого гримера-убийцу, запечатлевая ход расследования в своём дневнике. Но всё ли, написанное детективом, достоверно, или же многое — плод его наркотического восприятия? Так ли слаба его память, как он говорит в своих строках? И если собственный разум всё-таки обманывает его, то от какого ужаса этим уберегает?

Илья Юдачев

Черная рукопись

Эта обугленная рукопись обнаружена мной на старом пепелище, куда я прибыл с исследовательской целью, и является либо черновиком романа, либо дневником. Некоторые ее фрагменты мне удалось разобрать, и я публикую их в порядке, который считаю логически верным.

...опять уснул с зажженной папиросой. Конечно же, в какой-то момент она выскользнула из обмякших губ, скатилась по левому плечу и, отскочив от края кровати, упала на ковер.

— Милый, ты уронил. Подними, или мы сгорим.

Замечание лежащей рядом Веры вытащило меня из потока мутных образов, ткущих очередной недобрый сон. Жаль, но груз моей выдержанной, застарелой усталости порой так тягелеет, что не провалиться в дрему не выходит даже за счет сильнейшего усилия воли, иначе бы я не смыкал веки ни днем, ни ночью.

Под ними — тьма.

А под тьмою нечто худшее.

Я наклонился, поднял папиросу и вернул ее в рот. Вдохнул и на несколько секунд задержал внутри обжигающий дым, после чего выпустил его через ноздри.

— Почему он никак не съедет? — спросила Вера. — Втроем так тесно.

— Я говорил почему.

— Ошибаешься, милый. Ты никогда не отвечаешь на этот вопрос.

Я очень люблю Веру, и знаю: чувство взаимно. Поэтому нет во мне желания более сильного, чем сделать нашу жизнь душевно комфортной, свободной от разного рода бытовых неудобств и безоблачной в целом. Но по соображениям дружбы, а также ввиду элементарного сострадания, я не могу попросить его съехать с квартиры.

Кроме того, есть и еще одна, самая важная причина, по которой он здесь. Я очень хотел облечь ее в слова вновь, но, к сожалению, из-за травматического невроза, которым страдаю, запаматовал, и вместо полноценного довода возлюбленная услышала от меня лишь напоминание, что довод сей я уже озвучивал. В ответ Вера с раздражающим упорством, хоть и мягко, настаивала на обратном.

— Раз веская причина имеется, и ты ею уже делился, чего стоит сделать это опять? — спрашивала она, ласково глядя меня по голове. При этом от нее пахло мылом, водой и чистой кожей. Кажется, незадолго до того, как лечь, она приняла ванну.

Верины волосы до сих пор были слегка мокрыми.

— Пойду, пожелаю ему спокойной ночи, — сказал я.

— Зачем? — поинтересовалась Вера. — Он же никогда не спит...

...при виде его всегда ужасаюсь, а ведь столько времени прошло.

Просто никак не привыкну.

Я обнаружил его в слабо освещенной кухне взгромоздившимся на стул. Когда я вошел, он встретил меня взглядом больших, вечно смеющихся глаз и широченной беззубо-алой улыбкой. Меня пугают эти глаза и эта улыбка: слишком уж невыносимо контрастируют приведенные черты лица с тем, что он собою являет.

А являет он собою одетое в военный китель туловище без левой руки и обеих ног, которым, посаженная на гибкую шею, управляет голова в шапке-ушанке.

— Командир! — возрадовался он.

— Хватит меня так называть. Я был командиром, но давно перестал.

— Хм, — наигранно задумался он, в театральном жесте потеряв правой рукой — единственной уцелевшей конечностью — свой подбородок, — тогда почему я не перестал быть солдатом? Как случилось, что меня никак не отпустит это звание?

— Трудная задача — перестать быть солдатом, когда тебя зовут Солдат.

— Можно верить, будто форма определяет содержание, как ты, а можно капнуть глубже, что делаю я, — ерничал калека, в намекающем на что-то прищуре сузив глаза. — Мне вот кажется, будто меня в моем звании удерживает не навязанное однажды имя, а некая неизъяснимая миссия. Тайная цель, которая другим пока не ясна.

От околофилосовских бредней сходящего с ума Солдата, у меня всегда обостряется мигрень. А иногда — и меня беспокоит это гораздо существенней боли — я чувствую, что сквозь эту мигрень будто нащупываю и постигаю глубинный смысл туманных речей моего увечного сослуживца.

Так случилось и в этот раз, поэтому я решил прервать беседу и покинуть кухню:

— Вообще-то я пришел пожелать спокойной ночи.

— Но зачем? Я же никогда не сплю.

— До завтра.

Я развернулся и сделал шаг в сторону коридора, как вдруг Солдат вновь ко мне обратился:

— Эй, командир!

У меня не было желания оглядываться, ведь я догадался, зачем добивается моего внимания Солдат. Но почему-то все же обратил лицо в его сторону.

Вытянувшись в струнку и в знак воинского приветствия прислонив правую ладонь к головному убору, Солдат улыбался во всю ширину огромного беззубого рта и спрашивал, вглядываясь в мои глаза своими — темными и насквозь прожигаящими:

— Ты помнишь, командир? Помнишь?

Я помню. *Вроде бы* помню всё.

Высасывающий надежду холод. Белоснежную чистоту накрытых зимой и войной северных просторов. Сцену, на которую намекал Солдат, и ужасающую меня тем сильнее, чем отчетливей я осознаю идеальную однородность белизны, на фоне которой она происходила, пачкая густым и красным. Я вроде бы помню, как в последний раз видел Солдата... или кого-то другого... другим.

Я ушел, не проронив более ни слова и решив не засыпать.

Не получилось. Поэтому ночью мне опять снились кошмары...

...Наутро я чувствовал себя разбитым и подавленным. Мигрень настолько беспощадно пульсировала в висках, что мысли о чем-то, кроме срочного обезболивания, не имели никаких шансов задержаться в моей измученной голове. Поэтому, едва поднявшись с кровати, я с нетерпением подошел к письменному столу и выдвинул нижний его ящик. В нем я небезосновательно рассчитывал обнаружить настойку опиума, прописанную мне Доктором от невроза, ведь в прошлом месяце целебное зелье мной было закуплено с огромным запасом.

Внутри оказалось пусто. Это значило, что я уже все выпил, и по пути на работу придется заглянуть в аптечную лавку.

Попрощавшись с возлюбленной моей Верой и Солдатом, я вышел на черно-серые улицы вечно черного и серого Города.

Мы живем в районе Речного проспекта — главной и самой красивой улицы Города. В аптечную лавку я шел именно по ней. И, идя, ловил на себе осуждающие взгляды прохожих. Не знаю почему, но когда меня одолевает мигрень, и я спешу за лекарством, зеваки останавливают на мне укоризненные взоры и сопровождают ими. Причем совершенно не важно, какого рода эти зевачи — дворяне ли, бедняки ли, клерки ли, уличные музыканты ли, явные жулики ли, —

все они смотрят обвинительно. Это неприятно, но я утешаюсь мыслью, что мои наблюдения, вероятно, ложны, поскольку невроз может исказить восприятие действительности.

Каменные горгульи тоже провожают меня своими темными глазами, хищно смотря с высоты зданий, мрачной эстетикой архитектуры столь притягательных для приезжих.

Кстати, я точно знаю: каменные горгульи вовсе не каменные, а лишь прикидываются таковыми. Они ждут, когда я окончательно ослабну, чтобы сорваться со своих стен, без сопротивления добить меня и насытиться умерщвленной плотью.

Они ждут. Но они не дождутся...

...Новый аптекарь оказался тем еще бюрократишкой. Он внимательно прочитал рецепт и спросил, зачем мне так много бутылок настойки. В рецепте, мол, сказано принимать пять-шесть капель в день, а значит, одной бутылки должно хватить надолго.

Ну как ему, человеку, не страдающему неврозом (а я уверен, что он и на войне-то не был) объяснишь, что пять-шесть капель уже не помогает, и мне буквально приходится употреблять не менее трех рюмок в день?

Никак не объяснишь. Он продал мне одну бутылку. Надо как-нибудь заглянуть на Рынок, где кое-кто торгует опиумными настойками из-под полы.

Говорят, на Рынке они даже лучшего качества...

...и волна освободительного целебного тепла разлилась по моему телу. Пульсации боли теряли напор и ослабляли тираническую хватку своих твердых пальцев. Я обрел полный контроль над каждой клеточкой организма и чувствовал не гнетущую, а, наконец, приятную и надежную материалистичность реальности. Также я осознал себя важной, неотъемлемой частью этой реальности, видимой областью которой был кабинет моего агентства. Мыслям возвращалась точность и ясность. В какой-то момент мне даже показалось, что свет моего тренированного разума будто освещает кабинет. Но тогда я посмотрел в окно и убедился, что это лучи солнца нашли дыры в одеяле нависших над Городом туч.

Я был готов к работе.

Через некоторое время в дверь постучала секретарша.

— К вам клиент, — сказала она.

— Пусть заходит, — ответил я, улынувшись.

Секретарша вышла, и через полминуты в кабинет вошел одетый в черный сюртук молодой мужчина. В руках он держал цилиндр и трость. Росту он был чуть ниже среднего, но хорошо при этом сложен. Непослушные золотые пряди обрамляли его голову, в то время как ангельски красивое лицо было начисто выбрито. Он пытался (и, кстати, умело) создать впечатление человека улыбчивого и простого, но от меня не укрылось, что в его голубых глазах таятся печаль, тревога и ум.

Я вышел мужчине навстречу, и в знак приветствия мы пожали руки.

— Поэт, — представился он.

— Сыщик, — назвал я.

После того, как мы заняли кресла напротив друг друга, я попросил Поэта открыть цель его визита в мое агентство.

— Я бы хотел воспользоваться вашими детективными услугами, чтобы собрать информацию об одном подозрительном и наглом субъекте, — ответил он.

— Как зовут субъекта?

— Настоящее имя неизвестно, но представляется Богданом Евгеньевичем Зыменовым.

Поэт протянул мне визитку, на матово-белой поверхности которой черным шрифтом было выведено:

Б.Е. Зыменов
специалист по гриму

— Чем обусловлен ваш к нему интерес?

— Его навязчивым и оскорбительным интересом ко мне. Этот Зыменов активно увлекается моей биографией, пакостно и без спроса вмешивается в мою жизнь, и, самым очерняющим образом искажая факты из нее, пишет обо мне книгу, которую, по его собственному признанию, собирается опубликовать. Я бы не хотел, чтобы имя Поэта было оплевано, поэтому собираюсь найти и предать огласке такой компромат на Зыменова, который либо послужит неодолимым препятствием изданию его книги, либо, если ее все-таки издадут, навеки бросит на нее тяжелую тень.

Ответ Поэта меня удивил. Обычно, ко мне в контору приходят мужья, которым нужно проследить за женами, жены, которые хотят уличить в измене мужей, богатые старухи, сошедшие с ума и в каждом из потенциальных наследников видящие своих отравителей, либо даже сторонники конспирологических теорий, ни при каких, даже самых худших обстоятельствах не готовые обратиться в государственные правоохранительные органы. А тут пришел Поэт. Да еще с проблемой в высшей степени необычного свойства.

Мне нужны были подробности. Я попросил своего желтоволосого клиента изложить всё, что ему на сегодняшний день уже известно о Зыменове: откуда тот родом, женат ли, с кем в Городе и за его пределами знаком. Также я попросил Поэта в мельчайших деталях описать внешность Зыменова и каждый случай их встречи.

Поэт согласно кивнул и поведал следующее: «Впервые я встретил Зыменова два месяца назад, когда на поезде возвращался в Город из Столицы. Зайдя в свое купе из соседнего, в котором пил чай и общался со своим давним знакомым, актером театра Григорием Нестрелевым, по невероятному совпадению ехавшем на одном со мною рейсе, я сел и принялся читать газету. В какой-то момент, переворачивая страницу, я заметил, что в купе нахожусь уже не один: напротив меня в черном, низко надвинутом на лоб цилиндре, сидел некий господин. Черт его лица было не разглядеть, поскольку их густо оттенял головной убор.

— Какая радость снова вас видеть, — сказал он. Голос его показался мне невыразительным и лишенным каких-то ярких характеристик. То был тусклый из всех когда-либо слышанных мною голосов.

— Мы разве раньше встречались? — резонно спросил я, отвлекшись от газеты.

— Конечно! И даже не один раз. Вглядитесь получше, неужели вы меня не помните? — незнакомец слегка приподнял цилиндр, и его лицо на одно мгновение показалось мне смутно знакомым. Но лишь на одно, и всего-навсего смутно.

— Нет, не помню.

— А так? — незнакомец начал старательно гримасничать, потом массировать свое лицо, будто размазывая по нему некую субстанцию, а затем похлопал себя по щекам и снова на меня уставился.

— Так тоже нет. И как ваши манипуляции должны повлиять на мою память? Вы — это все равно вы, а ваше лицо — все равно ваше. И оно мне не знакомо.

— Ах, как верно сказано, насчет того, что я — это все равно, безусловно, я. Также как вы — в любом случае и, безусловно, вы. Но не злитесь на меня из-за гримас и гримирования. В виду моей деятельности в памяти каждого человека это лицо отпечатывается совершенно по-разному. Я лишь пытался найти то его выражение, которое могло бы запомниться вам ранее. Но вы почему-то не запомнили ни одно.

— Как вас зовут?

— Богдан Евгеньевич Зыменов. Вот моя визитка.

Я тоже представился, хоть и был уверен, что мое имя собеседнику знакомо, и принял у него из рук белую прямоугольную карточку с черным текстом на ней, после чего уточнил:

— Вы специалист по гриму?

— Первоклассный.

— Но разве гримеры гримируют самих себя?

— Порой это вынужденная необходимость.

Какой странный и мутный тип, мысленно дал я ему характеристику. А вслух спросил:

— И где, по-вашему, мы с вами встречались?

— О, список длинный: в трущобных кварталах Лавры, где вы часто просыпаетесь в при- тонах, не помня минувшую ночь, в кабаках Холмового проспекта, где вы проигрываете в карты гонорары за сборники и читаете проституткам свою томную лирику, в Канавах, где среди вони, грязи и нечистот вы пару раз участвовали в кулачных боях, организованных главарем одной из банд, у ростовщиков просящим денег. Встречались мы также в доходных домах и гостиницах, где вы пьете, как вам потом кажется, в одиночестве... хотя... в гостиницах все же пока нет.

Демонстративная осведомленность, которую выказал господин Зыменов, нисколько в тот момент меня не удивила, ведь человек я все-таки известный, и разных сплетен и слухов обо мне ходит довольно много, на что я и указал своему попутчику, продолжая сомневаться, что мы где-либо пересекались.

— И все же я могу убедить вас в обратном, — настаивал он.

Ехать нам было еще долго, а газета, которую я пробовал читать до появления господина Зыменова, оказалась чудовищно скучной (единственная интересная статья раскрывала мрач- ную тему учащения случаев самоубийств в Городе, но углубляться в нее не было настроения), поэтому, рассчитывая хоть как-то скрасить путь, я ответил специалисту по гриму согласием:

— Что ж, попробуйте.

Тут он словно фокусник извлек из своего обтягивающего фигуру сюртука парадоксально огромный талмуд, который ну никак не должен был поместиться под одеждой, не выпирая.

Не мог, но все же поместился, раз он оттуда его достал.

Книга эта была в кожаном болотно-зеленом переплете, и почему-то мерзко, трупно воняла. Когда Зыменов открыл первую страницу, мне даже показалось, будто воздух прело- мился и задрожал от исходящих от бумаги миазмов.

Я достал из кармана платок и, прикрыв нос, поинтересовался, почему от фолианта исхо- дит такое зловоние.

— Потому что она о вас, — ответил Зыменов и, водя по строчкам пальцем, начал читать.

Во время чтения преобразившийся вдруг голос моего попутчика и его манеры пугали: он то гнусавил над книгой, как над усопшим монах, то, вперившись в меня вспыхнувшим голубым пламенем глаз, бормотал ее по памяти, словно изрекающий пророчества сумасшедший оракул. Произнося диалоги, он со злобной гениальностью дьявола вживался в роль: вот он неотличим голосом и интонациями от моей покойной матушки, вот сыплет колкостями точь-в-точь как соперник по писательскому ремеслу, а вот бросает слова предательства как бывший лучший друг. А вот он — уже почти что я, только черной аурой и какой-то ужасный.

Содержание книги было возмутительным и оскорбляло. Причем, я не могу сказать, что факты, в ней отраженные, были воспроизведены не точно. Напротив — они были исключи- тельно достоверны и даже последовательно выстроены с точки зрения дат. Но если бы эти факты просто сухо описывались... Нет, в дополнение к этому Зыменов давал каждому из них свое извращенное, ядовитое и гадкое толкование. По его мнению, любое предпринятое мной в жизни действие имело некий гнусный подтекст, двойное дно и дурно сказывалось как на мне самом, так и на моем окружении. В мерзкой книге я представал человеком, движимым исключительно низменными инстинктами и укоренившимися в душе пороками. Мораль моя, по мнению Зыменова, была полностью отравлена, а мотивы всякого поступка безобразны. А

еще (и это самое худшее) в книге я был не поэтом вовсе, а бездушным авантюристом, который пишет свои стихи не сердцем и искрой таланта, а мошеннической ловкостью ума и рук.

— Впрочем, книга еще не дописана, но я над этим работаю. Когда-нибудь она обязательно будет издана, — подытожил Зыменов своим прежним тусклым голосом, захлопнул книгу и неведомо как бесследно спрятал ее в подогнанном под фигуру сюртуке.

Не стесняясь в выражениях, я высказал Зыменову, все, что думаю о его писанине. В частности, назвал рукопись пасквильной и лживой.

— Единственная зримая для вас ложь, которая имеется в этом купе, — отвечал специалист по гриму и гадливой прозе, — напечатана в газете. В статье про самоубийства написано, что их с начала месяца зафиксировано в Городе девяносто восемь. Но сразу после того, как вы покинули купе господина Нестреляева, его навестил я, и мы условились, что их на самом деле девяносто девять. Когда я откланивался, актер как раз набирался решимости для нажатия на спусковую скобу. И, кстати, мы только что въехали в Город.

Сразу после этих слов в соседнем купе раздался выстрел. Потом чьи-то каблуки быстро отстучали несколько шагов. Затем я услышал, как открывается дверь соседнего купе. И высокий женский крик.

Будучи потрясен, я позабыл о Зыменове и его пророческих словах, но вскочил и ринулся в купе Нестреляева, предполагая худшее. Одновременно со мной из других купе вышли и остальные пассажиры. Испугано тарахась в сторону, откуда ранее донесся выстрел, они пока не решались приблизиться и лично увидеть, в чем дело.

Поэтому сначала рядом с проводницей и трупом Григория Нестреляева оказался только я.

Нестреляев наполовину сидел, а наполовину лежал на левом боку. В правой руке он сжимал наган, а в виске алело пулевое отверстие. К стене красно-серой кляксой прилипли вышибленные мозги.

— Зачем же он так? Ведь молодой совсем, и убился, — горевала проводница.

И тут я вспомнил Зыменова.

— Его довели, — тихо бросил я и обернулся в намерении задержать специалиста по гриму, гадливой прозе и суициду, пока он еще в моем купе.

Но позади меня уже собралась толпа зевак. Я старался протиснуться через них, вежливо просил, настойчиво требовал и даже толкался, но они как будто не замечали меня.

А над их головами, словно буюк по волнам тревожного моря, уплывала к выходу оттененная цилиндром зловещая физиономия Зыменова. И, кажется, улыбалась...

...но прибывшие в вагон полицейские сказали, что такой статьи как «доведение до самоубийства» в уголовном кодексе Империи нет»...

...и все же Поэт, несмотря на видимые старания, не мог подробно воспроизвести внешность Зыменова, уверяя, будто она настолько невнятна, что забывается практически мгновенно. Однако представало совершенно ясным, что специалист по гриму выделяется ростом, раз, двигаясь в толпе, возвышался над самым высоким из пассажиров на целую голову. А еще, вероятно, у него голубые глаза.

Но кое-какой карандашный набросок, основанный на куцых описаниях, я, разумеется, все же сделал. И немедленно предъявил Поэту.

— А знаете, похож, — оценил он.

Я усмехнулся и спросил чем именно. Ведь ни одной отчетливой детали лица (кроме «вспыхнувшего голубого пламени глаз») или же фигуры (за исключением роста) в воспоминаниях Поэта о его загадочном знакомом не сохранилось, а значит, не было и на наброске.

— Производимым впечатлением. Тем, что ваш рисунок внушает такие же чувства, что и, собственно, Зыменов.

— Что ж, это радует. Но перейдем к другим вопросам. Вы упомянули, что Григорий Нестреляев был актером театра. Как считаете, с нашим гримером его связывали рабочие отношения?

— Нет, полагаю какие-то другие. В театре, где служил Гриша, я знаю всех, и никакого Зыменова там нет и в помине.

— Вам известно, по каким делам погибший ездил в Столицу?

— Понятия не имею. Я, конечно, осведомился у него об этом, но он отделался общими фразами.

Далее я подробней расспросил Поэта о действиях полицейских. По его словам, к событию они отнеслись без энтузиазма, квалифицировав случившееся не как преступление, а всего-навсего как происшествие. В их защиту скажу, что с юридической точки зрения таковым оно и являлось.

После того, как полицейские опросили самого Поэта, тому удалось попристутствовать на опросе проводницы и зевак. Все эти люди, как один, уверяли, что не знают никакого Зыменова и исполинов в цилиндре на протяжении поездки не видели. А проводница к тому же заявила, что среди пассажиров и сотрудников поезда людей с фамилией Зыменов не значится.

Поэт отчаянно старался убедить стражей порядка, что специалист по гриму дал ему визитку, но они, так и не дождавшись, когда он отыщет ее в своих карманах (потому что она очень некстати в них затерялась), ушли...

...принялся рассказывать о следующем факте встречи с Зыменовым: «Она произошла на собрании «Ордена метафористов» (так называется литературный клуб, в котором я на тот момент состоял).

Наше (вернее — их) поэтическое направление в последнее время набирает большую популярность, в связи с чем, первую половину встречи мы посвятили делу, которое давно планировал и на важности которого настаивал зануда и педант Рифмовщик — написанию декларации метафоризма. Это заняло у нас несколько часов, и, когда мы закончили, уже наступила ночь. Удовлетворенные тем консенсусом, которого удалось достичь в итоговом документе, оставшуюся часть собрания мы посвятили зачитыванию друг другу своих новых стихотворений. Будучи, конечно, слегка хмельными, что, впрочем, только насыщало действие страстью и огнем.

Сидя за круглым столом («в знак равенства талантов друг друга» Рифмовщик уговорил использовать для собраний именно его), мы по очереди вставали и декламировали произведения.

Я должен был читать после Рифмовщика, традиционно выдавившего из себя распухшие от образов, но совершенно пустые по смыслу и бездарные строки.

Однако когда он усадил в кресло свое нескладное, целиком состоящее из локтей да коленей тело, по левую от меня руку выросла и на всю аудиторию заголосила ямбом и хореем другая угловатая фигура.

Принадлежала она Богдану Евгеньевичу Зыменову...

...а они смотрели на него так, будто он давний член клуба, и очень хорошо им знаком.

Но в какой-то момент Зыменов начал явно раздражать собравшихся. Было в читаемых им творениях (справедливости ради — талантливо сочиненных) нечто выходящее в своем нигилизме за грань, вызывающе-порочное и даже святотатское. Казалось, он умудрился задеть глупбинные и запретные струны во всех. При этом у него отлично получалось избегать конкретики,

и в этом смысле наш поэтствующий гример являл собой истинного метафориста: не сказав ничего, он сказал всё и о каждом.

Я в тайне восхитился Зыменовым. И возненавидел его.

Негодяйские словоизлияния прервались после чьего-то яростного возгласа:

— Ну всё, это уже чересчур!

Фраза эта, как спусковой крючок, сорвала нас со своих мест в единодушном порыве вытолкать Зыменова на улицу. Усилия к этому приложил и я, сидевший к специалисту по гриму ближе остальных.

Когда я взял прерванного чтеца за одежду, мне на секунду почудилось, будто он бесплотен, ввиду того что под сюртуком его как-то не нащупалась твердость человеческого тела, а только лишь воздух.

Но через пару секунд после меня Зыменова схватили остальные, и, находясь в гуще событий, я вполне прочувствовал, что схватили основательно, как принято хватать тяжелый и крупный объект.

Сцепившись, мы словно единый поток устремились к выходу. Я перебирал ногами, но течение этого потока было настолько сильным, что расслабь я их, оно бы не остановилось. Сквозь сеть переплетенных рук, я видел в проем уже распахнутой кем-то двери улицу: снаружи барабанил дождь, и зияла тьма, с которой тщетно боролся всего-навсего один робкий фонарь.

Марш этот на всем его протяжении сопровождала наша грозная грязная брань и безумный хохот Зыменова. А когда мы, наконец, приблизились к порогу, сия процессия неожиданно вышвырнула на улицу не специалиста по гриму, а меня. В результате я прокатился по лестнице и упал лицом в слякоть.

Изумленно обернувшись, я увидел темное и размываемое струями дождя лицо Зыменова, спокойно стоящего на крыльце среди членов клуба и вместе с ними вззирающего на мое унижение.

Точку в случившемся поставил Рифмовщик:

— Больше не приходи, — сказал он мне и, вернувшись с Зыменовым и остальными внутрь, захлопнул дверь»...

...и все же я пребывал в убежденности, что описанное Поэтом было абсурдным только лишь на неискушенный взгляд.

Да, из поверхностного анализа его речей, конечно, напрашивался вывод об иллюзорности Зыменова, о существовании неуловимого гримера единственно в воспаленной творческой голове моего клиента, а никак не материально, но обострившиеся под настойкой опиума чувства, опыт детективной работы и неизменно верная мне интуиция подсказывали: Поэт говорит правду, просто со своего ракурса видит ее обрывочно.

Дальнейшие его реплики подтвердили: Зыменов реален.

— Вы не пробовали обсудить тот вечер с членами клуба спустя время? — поинтересовался я.

— Не хочу возобновлять отношения с кем-либо из этого узкомыслящего кружка. Давно хотел из него выйти, да всё повода не находил. А тут как-то само собой вышло. Но выведать нужную мне информацию я, разумеется, попытался. Не лично, а через третье лицо и под надуманным им предлогом. Избегая подробностей, члены клуба заявили ему, что Зыменова в тот вечер видели в первый и последний раз, а на тему моего вышвыривания даже не заикнулись. Заговорщики и лжецы. Напрасно я когда-то им верил. А в особенности — Рифмовщику.

— Почему в особенности?

— Причин масса. Но ни одна из них отношения к делу не имеет.

Я выяснил у Поэта, кто является упомянутым им третьим лицом, через которое он опросил Орден метафористов. Поняв, что, возможно, мне потребуется с этим человеком перегово-

ворить, мой клиент признался, что речь идет о его бывшей жене, Музе. Поинтересоваться у членов клуба, как выглядел Зыменов, Муза не догадалась, а обращаться к ней за помощью второй раз Поэт не стал.

Сделав глоток из любезно принесенной секретаршей чашки кофе, Поэт приступил к описанию третьей и последней на данный момент его встречи с Богданом Евгеньевичем Зыменовым.

Она состоялась на кладбище, причем совсем недавно...

«...Этот осенний день был преисполнен тоски и черно-бел. А среди могил давящее понимание бренности всего сущего только усилилось, нагнетая на душу мою тоску и страх. Среди рядов крестов и надгробий я ступал тихо, стараясь не нарушить священный покой усопших.

Где-то копал яму могильщик. До моего уха доносились звуки его лопаты.

Где-то на ветвях облысевших деревьев каркали вороны.

А где-то, видимо в самом дальнем уголке этого царства смерти слышался чей-то плач. Прощались с человеком.

Мои родители погребены в северной части кладбища, почти у самой его границы. Идя к ним по узкой тропинке, я смотрел либо под ноги, либо прямо перед собой, но, когда преодолел уже значительное расстояние по могильной земле, ощутил сбоку тихое присутствие: справа, метрах примерно в десяти, в одном со мной направлении шествовал темный силуэт.

Значения этому я поначалу не придавал.

Однако потом расстояние между мной и силуэтом принялось сокращаться, и постепенно незнакомец занимал все больше и больше места на краю моего зрения, становясь заметным черным пятном. Когда по моим прикидкам нас разделяло метров пять, в глубине моей души зародилась тревога, поскольку я был твердо убежден в отсутствии тропинки там, где среди тесноты сорняков и оград в параллель со мной и нисколько не отставая, двигался субъект.

Видимо, тропинка есть, просто малозаметная, пришел я к логичному выводу. И, как был уверен, мысленному.

Но внезапно, явно отвечая на мое заключение, справа раздался бесцветный голос:

— Она — одна из многих скрытых путей, пронизывающих этот мир. Но желающий увидеть ее — увидит, а желающий пройти по ней — пройдет.

Я повернул голову. Рядом со мной, теперь уже не в скольких-то там метрах, а на расстоянии ладони, в низко надвинутом на лоб и оттеняющем неприметное лицо цилиндра шел мрачного вида господин, узнать которого я не мог (ведь внешность его с предыдущих встреч мне не запомнилась), но о личности которого, сам не понимаю как, догадался.

— Что вы тут забыли, Зыменов? — сквозь зубы спросил я.

— Пришел навестить ваших родителей, — ответил негодяй.

Праведный гнев вспыхнул во мне, словно пожар в сухом лесу. Едва сдерживаясь, я сказал:

— Вы нарываетесь. Проваливайте отсюда вон.

— Я имею ровно такое же право навещать их, как и вы. Кстати, не знаю почему, но в их обществе, работа над моей о вас книгой, идет наиболее споро. Да-да, я здесь не впервые. И, уверяю, не в последний раз. Ну что вы надулись, как разъяренный индюк? Может, вас успокоит, что я уже вовсю корплю над финалом?

После этих слов меня уже не волновали ни святость покоя усопших, ни сокрушающая сердце тишина могил, ни элементарные приличия. К своему стыду я сорвался и, дернув Зыменова за рукав, развернул этого хама и безбожника лицом, после чего попытался ударить.

Но Зыменов оказался тем еще ловкачом: он умело сместился с линии атаки и пропустил меня мимо. А когда я обернулся, уже сидел на чьей-то гробовой плите, свесив ноги и держа в руках развернутую книгу в мерзком болотно-зеленом переплете.

Ту самую, обо мне.

И начал читать.

А по мере того, как он, искусно меняя интонации, голос, манеру жестикулировать и с каждой секундой глубже окунаясь в роли, озвучивал свой лживый текст, кладбищенская земля и пространство над ней все гуще и гуще темнели под напором хмурых грозовых облаков, плывущих в вышине.

Меня будто загипнотизировали: не шевелясь, я слушал переменчивый голос Зыменова и безотрывно наблюдал за его актерской игрой, видя вроде бы только его, но вместе с тем, кажется, и все то, что он описывает. Из оцепенения меня вывела одна наиболее непристойная и скверная сцена, которую он отыгрывал. Возмущенный ее гадкой натуралистичностью я снова ощутил непреодолимое желание дать в морду этому проходимцу и решительно двинулся вперед с этой целью.

Но тут раскат грома разорвал пространство, и молния ударила по уродливому высохшему дереву, ветви которого склонялись надо мной, после чего одна из них, дымясь, рухнула на моем пути, будто предостерегая от следующего шага.

— Не иди, — сказал Зыменов, и голос его звучал загробно, — а слушай. Слушай.

Продолжая восседать на могильном камне, он возобновил чтение книги, а я, опять замерев на месте, — ее слушание.

Не знаю, сколько продлился этот спектакль на гробах, но, когда я задумался над временем, уже смеркалось. Вместе с тем, меня вдруг охватила непреодолимая тяга ко сну, а голос Зыменова в те мгновения как раз звучал тягуче и усыпляюще.

Я не помню, как засыпал. Помню лишь, что проснулся окоченевшим, лежа на сырой земле, в подготовленной для чьего-то погребения могиле. Сверху, с поверхности, на меня глядела синь рассветного неба и головы людей. А также доносился их возмущенный ропот.

— Петр Иванович, не кричите.

— Да что не кричите? Пусть поднимается!

Торопливо (насколько мне позволяло окоченение) я, вонзаясь пальцами в землю, выбрался наружу и, выпрямившись, увидел перед собой процессию: гроб, внутри которого лежал покойник, и с дюжину ругающих меня людей, траурно одетых.

Сказать, что мне было стыдно, и я провинился, значило бы сильно преуменьшить и стыд, и степень вины. Любые мои извинения в той ситуации были бы ничтожными и никак не исправили бы случившегося. Но все же, как мог, я их дал, что ситуацию лишь обострило.

От испытания на своей шкуре прелестей линчевания меня спас могильщик: он вывел меня из разъяренной толпы, попутно обращаясь к ней с убедительными и проникновенными словами о прощении кающегося. Слов этих я, к сожалению, не запомнил, но справедливую ярость в людях они немного потушили.

Могильщик, годящийся мне в отцы, проводил меня до ворот, и всю дорогу, что мы шли, я рассказывал ему, как все произошло, давая понять, что не единственный виновен в происшествии.

В конце, когда мы уже остановились, он положил руку мне на плечо и сочувственно произнес:

— Держись.

Кажется, он мне поверил.

А до могил родителей я так и не дошел»...

...что больше ничего о Зыменове не знает. Таким образом, по интересующему его субъекту Поэт предоставил только имя (а точнее псевдоним) и кое-какую информацию о профессиональных навыках, среди которых были искусство грима, декламация, написание художественных произведений и, возможно, гипноз. Сведений о семейном положении, возрасте, источниках дохода, круге общения, местах рождения и жительства мне не сообщалось, и наме-

ков на них рассказ Поэта не оставил. Тем не менее, поиск компромата на Зыменова не оказался мне охотой на тень, поскольку виднелись перспективные ниточки, за которые можно и нужно тянуть. К ним я отнес и покойного актера Нестреляева, которого Зыменов, очевидно, знал, и Орден метафористов, ввиду того что на его заседание случайный человек попасть не мог, и в целом насыщенную жизнь господина в цилиндре, открыто заявившего Поэту (и подтвердившего заявление делом), что регулярно пересекается с ним в людных, а значит, и богатых на свидетелей, местах.

Я озвучил клиенту стоимость моих услуг, и она его вполне устроила. Далее мы составили договор, после чего Поэт передал мне задаток, выразил надежду на скорейшее достижение мной нужного ему результата и ушел...

...Я подходил к железнодорожному вокзалу, этому шумному пристанищу паровых монстров, в своих черных металлических телах перевозящих других монстров — людей.

От шума и гама дрожал воздух, а от хаотическидвигающихся толп голову накрывала волна дезориентации. К тому же в мозгу, за глазами яблоками, пульсирующими шарами зарождалась мигрень, явно указывающая на утрату целебного действия опиума, поэтому я достал из кармана плаща флягу, в которую предусмотрительно перелил настойку, и сделал несколько глотков.

Отрадно сознавать, что в наше тяжелое, пропитанное ненавистью и презрением время в медицинских кругах все-таки находятся небезразличные профессора, врачи и чиновники, благодаря светлым умам и гуманистическим идеям которых, люди с тяжелыми расстройствами, подобными моему, имеют возможность приобретать эффективные и чудотворные средства вроде опиума.

Если бы только не эти аптекари, чтоб их...

Воздух стал дрожать чуть меньше, в движениях людских масс появилась упорядоченность, а мигрень растаяла и утекала куда-то прочь, гонимая спасительной настойкой.

Я отыскал дверь начальника железнодорожной полиции и, услышав «войдите» в ответ на свой стук, проследовал в его кабинет.

— Приветствую, Иван Антонович, — поздоровался я.

— О, Сыщик! Рад тебя видеть, дорогой, — оторвавшись от своих бумаг и встав для рукопожатия, отреагировал на меня старый товарищ. — Сто лет тебя не видел. Ты просто так или по делу?

— И то и другое, Антоныч. Давно хотел тебя проведать, а тут как раз дело торопит, — ответил я и стиснул протянутую мне ладонь своей, из-за чего Ваня поморщился.

— А ты все также крепок. Хватка словно капкан. Кофе?

Я ответил согласием и занял кресло для посетителей.

— Можно закурить? — спросил я и, получив разрешение, сунул в рот папиросу.

Сначала мы с Антонычем просто побеседовали — не о делах, а так, о всяком. Вспомнили время, когда вместе работали в уголовной полиции Города, какие-то резонансные дела, сослуживцев и бандитов. Начальству кости промыли, куда ж без этого. Ваня сказал, что в сыском отделе меня до сих пор вспоминают, а жулики, прознав о моем увольнении, совсем утратили чувство страха.

Я всегда говорил, что страх — это санитар улиц, и работать надо приоритетно над тем, чтобы не преступники внушали его полицейским, а полицейские преступникам.

Сторонникам идей гуманизма вряд ли понравились бы методы работы, которых я придерживался в те годы. Впрочем, кого и когда волновали гуманисты? Они же ничего не могут.

— И почему ты тогда ушел, до сих пор не пойму, — резюмировал Антоныч. — война кончилась, возвратился ты с нее целым, работай себе и работай, тем более сыское дело ты любил. Странно.

Свою службу в уголовной полиции я начал еще до войны. А после того, как отгремела последняя пушка, и призванных на фронт демобилизовали, вернулся в родной отдел, но как-то практически сразу решил уйти в частные детективы и открыл свое агентство. Важная причина так поступить у меня, естественно, была. Но разве ее теперь вспомнишь?

Ведь после войны я был сам не свой.

Наконец, от праздной беседы двух товарищей мы перешли к обсуждению дела, из-за которого я оказался в кабинете у Антоныча.

— Хочу выяснить обстоятельства смерти некоего Григория Нестрелева. Если помнишь, пару месяцев назад он свел счеты с жизнью, когда ехал на поезде из Столицы.

— Это который актер?

— Да.

Антоныч рассказал мне все, что помнит о том случае и, порывшись в полках, отыскал материал проверки, зарегистрированный по факту упомянутого инцидента. Я внимательно ознакомился с ним, прочитал объяснительные (среди которых была и данная Поэтом), протокол осмотра места происшествия с описанием трупа и обстановки в купе, рапорты полицейских, явившихся на место. Вывод, сделанный в материале проверки в результате сухого анализа фактов, был совершенно верным: имел место обыкновенный суицид — случай трагический, но рядовой. Но не это меня интересовало.

— Незадолго до выстрела в купе к Нестрелеву заходил некий Богдан Евгеньевич Зыменов. Этого господина упоминает в своей объяснительной Поэт. Я знаю, что человек с таким именем не покупал билета на рейс Столица-Город, но есть предположение, что он использует псевдоним, и билет оформил на свое настоящее ФИО. Мне бы хотелось посмотреть список всех пассажиров поезда.

Ваня немного поворчал на меня, поскольку информация, о которой я его просил, относится к разряду конфиденциальных, но в итоге по старой памяти все-таки согласился помочь.

Список пассажиров состоял из ста шестидесяти восьми имен. Некоторые из них Зыменовым быть никак не могли: дети, женщины, ветхие старики. Исключив указанные категории, я переписал на отдельный листок тридцать одну мужскую фамилию, указав напротив каждой адрес регистрации. Восемнадцать, подозреваемых мной в использовании псевдонима, мужчин живет в Городе, а тринадцать оставшихся — в Столице. Список довольно длинный, но при помощи своей агентурной сети (целиком состоящей из шустрых и смекалистых малолетних беспризорников, которым я плачу) мне удастся быстро сличить, кто именно из пассажиров рейса Столица-Город является обладателем докучающего Поэту альтер эго. И разворошить грязное белье этого человека.

По крайней мере, в случае его проживания в Городе. В случае же его принадлежности к тем тринадцати, зарегистрированным в Столице, будет несколько сложнее и дольше.

Если, конечно, я не вскрою правду о Зыменове через знакомых покойному Нестрелеву театралов, у метафористов, к которым специалист по гриму наведывался, в притонах Лавры, кабаках Холмового проспекта или же среди изогнутых улочек Канав, скрывающих так много.

Мои юные агенты и я будем работать синхронно...

...худой, чумазый, взлохмаченный, к своим одиннадцати годам с лихвой познавший суровую и гнусную сторону жизни, он смотрел на меня все же по-детски чистыми глазами. Сияли в них наивность и робость, надежда и мечта, святая непорочность детства и неиссякаемая жажда жизни.

Он, безусловно, воришка и будущий бандит. Но сердце мое сжалось так больно...

У нас с Верой нет детей.

— Ты понял, что нужно сделать? — спросил я.

Он кивнул. Меня это не удовлетворило, и я попросил озвучить, что именно он понял.

Беспризорник озвучил, и я убедился, что суть задания донесена до него точно. Я дал ему несколько монет, пообещав, что он получит больше, если добытая им в ходе поручения информация окажется ценной. После этого мы разошлись.

Прозвище этого мальчика — Чулок...

...Дав задания всем своим агентам, я отправился в театр трагедии имени Камедова, где служил Григорий Нестреляев до того, как свел счеты с жизнью.

Согласно расписанию, спектаклей сегодня не было, но я рассчитывал застать в театре хотя бы кого-то из сотрудников, полагая, что в этом тесном мире тщеславия и болтовни все знают друг о друге всё, и опрос даже одного человека может оказаться достаточным.

Внутри я обнаружил полный состав труппы. Шла репетиция какой-то пьесы.

Ее окончания я решил дожидаться в зрительном зале, сев в одном из центральных рядов.

Пьеса погружала зрителя в воспоминания пожилого офицера, которого отправили на войну накануне его свадьбы, когда тот был молодым. Причем офицер этот являлся одновременно и незримым рассказчиком, выступая голосом за сценой, и действующим лицом на подмостках, где его отыгрывал актер.

Не сказал бы, что сюжет пьесы оригинален, но в какой-то момент я поймал себя на записывании отдельных, наиболее важных для его осмысления реплик.

Одну из них отпустил офицер в первом акте, где был эпизод прощания с любимой, в ходе которого он обещал, что вернется, а она — что обязательно дожидется его. В этих строчках слова офицера-рассказчика, выступающего за сценой, чередуются с теми, что непосредственно со сцены произносит молодой актер (они в кавычках):

*Я ведь верил и сам своей клятве «вернусь»,
Потому и шептал у порога:
«Коли больно, так плачь, но, проплакав, молю
Не ищи себя в сердце другого».*

Второй акт игрой и речами персонажей, а также декорациями воспроизводил картину жестокого и кровавого сражения, в ходе которого офицер решил, что взорвавшийся рядом снаряд убил его. Вот его фраза (он произносит ее, лежа на поле брани среди мертвых тел):

*«Крик, не успевший слететь с наших губ
Не найдет выхода впредь.
Наши мощи, надеюсь, прибудут домой,
А не вскормят чужую твердь».*

В третьем акте, когда выяснилось, что офицер жив, возлюбленную из-за ошибки все равно уведомляют о его кончине. Но долго она не переживает:

*«Над тобой теперь вечный закат.
А в окне моем солнце и март».*

В четвертом акте возвратившийся с фронта офицер узнает, что его избранница вышла замуж за старого и уродливого владельца фабрики. Он отправляет женщине письмо, в котором сообщает, что, как и обещал, вернулся, а также радуется обретению ею счастья в замужестве. Читая это письмо, она плачет, ибо счастья в замужестве так и не обрела.

Из этого акта я ничего не выписал, найдя его до тошноты фальшивым. Главный герой в нем предстает донельзя всепрощающим и меланхоличным созданием, что не вяжется с образом бескомпромиссного и твердого человека, который рисовала пьеса на всем своем протяжении...

...в остальном режиссер проявил себя на удивление никудышным источником информации, поскольку отчужденность, с которой он относится к внетеатральной жизни подчиненных ему лицедеев, абсолютна. Оставалось надеяться только на самих лицедеев.

Узнав кто я, и по какому поводу очутился за кулисами, они окружили меня и внимательно выслушали, после чего, вздыхая с преувеличенным, как мне показалось, трагизмом, принялись поочередно делиться воспоминаниями о Григории Нестреляеве.

По словам актеров, выходило, что Нестреляев был добрым и жизнерадостным человеком, не склонным к мыслям о самоубийстве. Ближний круг его знакомств ограничивался театром, в котором он служил, и гримера с фамилией Зыменов в данном театре никогда не было. Звезд с неба Нестреляев почти никогда не хватал, являясь хоть и крепким актером, но лишенным при этом какой-то сверкающей харизмы. Обычно, ему доставались роли второго плана: он играл то лучшего друга знаменитого сердцееда, то по пятам следовавшего за своим начальником помощника, то дворецкого в богатом доме графа. Однако незадолго до его смерти, Нестреляева вдруг стали замечать, и на какой-то короткий период он даже стал любимцем критиков и кумиром публики, а среди ролей, которые ему доставались, начали появляться главные герои.

Перед смертью актер ушел в отпуск, планируя путешествие в Столицу по делам личного свойства. Как раз на обратном пути из нее и произошла трагедия.

Сообщив мне все это и ничем, по сути, не дополнив изложение режиссера, актеры труппы попрощались со мной и ушли.

Но одна довольно привлекательная актриса, лет, правда, этак сорока или сорока пяти, осталась. И она явно ждала, когда коллеги окажутся слишком далеко, чтобы слышать нас. Глаза этой актрисы говорили мне: «Не уходи».

— Им всем наплевать на смерть Гриши, — бросила она, метнув молнию взглядом. — А некоторые даже рады.

— Но, судя по всему, не вы, — предположил я.

— Гриша был мне... как сын, понимаете?

— Вполне.

— Вы интересовались неким Зыменовым, верно? Никому из нас действительно не знакома эта фамилия. Но по всему выходит, что человек этот очень и очень неординарен, раз смог роковым образом повлиять на Гришу.

— Я не утверждаю, что смог. А только предполагаю это. Но к чему вы клоните?

Женщина, которую, оказалось, зовут Чернецкая Анна Степановна, поведала, что примерно за неделю до начала стремительного карьерного взлета Григория Нестреляева, в беседке Императорского парка, где труппа праздновала день рождения одного из актеров, с ныне покойным завязал беседа странный, явившийся без приглашения, когда все уже были пьяны, колдовски обаятельный и в высшей степени неординарный незнакомец.

— Имени его я не запомнила, да и не хотела. Было в нем что-то... интуитивно пугающее, несмотря на внешнюю привлекательность. К тому же его интересовал только Гриша.

На мой вопрос, как в точности выглядел этот господин, Анна Степановна ответила, что вроде он был высок, атлетически сложен, ярко-голубоглаз, с четко очерченным подбородком и выраженными надбровными дугами.

— Своим типажом он мог бы напомнить вас, — подметила она, — отними у него озорство и чертовщинку.

При этом моя собеседница добавила, что может ошибаться в деталях, посетовав на алкогольный дурман, которому подверглась в тот вечер. Но кое в чем актриса не сомневалась, и

речь идет об одеянии таинственного субъекта: черном, словно обрывок ночи, сюртуке и столь же черном цилиндре.

— Это уже любопытно, подумал я.

— О чем он разговаривал с Григорием?

— Поспорил с ним, что сможет сделать его актером номер один в Городе.

— И каковы были условия пари?

— Ими Гриша поделиться со мной сначала не хотел, найдя спор шуточным, а потом не смог, ведь наутро помнил мало. Но они с неизвестным господином зафиксировали договоренности на бумаге.

— А бумага, полагаю, неизвестно где.

Анна Степановна выдвинула гипотезу, что искомый документ может находиться в квартире, в которой Григорий жил со своим дедом.

— Часть его вещей осталась у меня, поскольку мы периодически репетировали вместе, но большинство должно быть там. Я хотела поискать тот договор сама, но дедушка Гриши меня, мягко говоря, недолюбливает. Поэтому в свою квартиру не пустил.

Я попросил актрису рассказать о последовавших за тем вечером в беседе событиях.

На это она сообщила, что после заключенного с незнакомцем пари игра Григория Нестрелева резко преобразилась: из неведомых доселе глубин души он начал черпать пронзительные и правдоподобные образы, затмевая на репетициях как признанных мэтров, так и молодых звезд. Магнетизм и сила изображаемых Нестрелевым характеров в какой-то момент настолько вскружили голову режиссеру, что за день до очередной премьеры тот экстренно поменял местами актера, которому надлежало исполнить главную роль, и Григория, коему по обыкновению достался второстепенный персонаж.

На той премьере Нестрелев произвел фурор: зрители рыдали и аплодировали, аплодировали и рыдали. Бледный до этого времени исполнитель расцвел вдруг подобно розе, вспорол искушенные сердца театралов и нагло в них залез. Критики выпускали на полосах газет хвалебные оды, посвященные ему, и даже самые ядовитые и придиричivé из них обернулись вдруг влюбленными подхалимами.

Аналогичное повторялось и на следующих спектаклях, поскольку Нестрелев моментально вытеснил других претендентов на главные роли, беспощадно накрыв их тенью своего таланта, внезапно для всех ставшей такой огромной.

Соперники ему завидовали, зрители восхищались им, а он, тем временем, страдал и все время чего-то боялся.

— Он последним приходил на репетиции и первым с них уходил, — говорила Чернецкая. — Тоже самое касалось и спектаклей. За эти два месяца мне ни разу не удалось пересечься с ним за кулисами, и за исключением дома я видела его только на сцене. Великолепным, вдохновленным, как никогда блестящим... но каким-то чужим. Дома же он снова становился моим Гришей, вот только... неведомая печаль все больше омрачала его взор.

Незадолго до отпуска Нестрелев сказал Чернецкой, что ему нужно будет на некоторое время отлучиться в Столицу, но целью этой поездки упорно не делился.

А потом она состоялась.

— Но почему вы не рассказали мне все это, пока остальные актеры были тут? Зачем дожидались их ухода?

— Среди них есть те, кто очень завидовал Гришину успеху. А я не допущу, чтобы его посмертно обвинили в жульничестве, узнав о злополучной договоренности с влиятельным лицом. Недоброжелатели наверняка представят все так, будто Гриша отыскивал через него рычаги давления на критиков, умышленно игнорируя его прекрасную игру. Пусть лучше напыщенные гордецы всю оставшуюся жизнь мирятся с мыслью, что ярче их собственных когда-то светила звезда Григория Нестрелева.

Перед тем, как я ушел, Чернецкая попросила меня оставить контактные данные на случай, если она вдруг вспомнит что-либо важное. Тогда я вырвал лист из дневника, написал на нем свое имя, адрес и телефон агентства, после чего передал его актрисе.

В ответ она тоже оставила мне свой домашний адрес, но номером поделиться уже не смогла, объяснив это отсутствием в квартире телефона.

— Что ж, если необходимость возникнет, воспользуетесь тогда таксофоном.

— Ну почему же? Я могу и от соседей позвонить...

...Ненавижу горгулий. Особенно мрачнющими из-за уходящего солнца вечерами.

Зачем они демонстрируют мне свои языки?

Зачем смотрят плотоядно?

Зачем поворачивают головы, отслеживая мой путь?

Я ведь знал ответы на эти вопросы. Знал еще утром. Но забыл.

И, главное, почему никто из прохожих не замечает, что горгульи могут шевелиться, ежели захотят?

Люди слепы. Люди глупы. Люди разучились смотреть наверх, поскольку уверены, что ухабы и кочки, требующие внимания, всегда находятся внизу, под ногами.

Я часто смотрю наверх. Зло всегда скрывается именно там. Злу приятно наблюдать за миром свысока, ведь так легче презирать его и чувствовать над ним превосходство.

Выходя утром из дома, я неизменно беру с собой большой армейский парабеллум.

А, ступая по улицам, часто смотрю наверх...

...почувствовал, что теряю концентрацию, поэтому отхлебнул из фляги немного настойки.

На самом деле, с горгульями у меня нейтралитет. И не такие уж они подвижные, какими вдохновенное магией вечернего Города делает их мое воображение.

Хотя немного, конечно, двигаются...

...на Подгорной. Район, безусловно, плохой, но бывают хуже и куда опасней.

Я поднялся на второй этаж и постучался в нужную квартиру — тишина. Постучался снова, настойчивей и сильнее. Я знал, что дома кто-то есть, поскольку заметил в окнах свет, когда был еще снаружи.

Наконец, раздалися шаги, и закономерно донеслось: «Кто?»

После моего ответа старая дверь скрипнула и открылась. Перед собой я увидел сердитого пожилого мужчину в очках. Это был дедушка Григория Нестреляева, Андрей Львович.

Громко и четко (ввиду того что собеседник оказался глуховат) изложив цель своего позднего визита, я попросил Андрея Львовича поделиться соображениями касательно последних двух месяцев жизни внука.

Повествование выдалось малоинтересным, в ходе него Андрей Львович высказал все, что думает о таком виде искусства как театр, назвал всех актеров бездельниками, а Анну Степановну Чернецкую — старой стервой.

Далее я спросил у старика, не говорит ли ему о чем-либо фамилия Зыменов, не знает ли он, с какой целью Григорий ездил в Столицу, и не водил ли внук знакомства с господином в черном цилиндре.

На первые два вопроса Андрей Львович ответил отрицательно, а вот на третий, после секунд раздумий сообщил следующее:

— Приходил какой-то... внук ему открывал. Вроде в цилиндре был. Я слышу-то плохо, но господин этот все что-то Грише напоминал. «Все всерьез», — говорил. И еще, что о чем-то там не шутил. И про документ какой-то: «Прочитайте, он же и у вас есть».

— А могу ли я поискать этот документ?

Нехотя, объяснимо недовольный вторжением, Андрей Львович все же согласился впустить меня в квартиру, после чего указал на комнату своего внука.

В ней царил беспорядок: всюду валялись страницы пьес, наряды и реквизит, стопками разной величины были сложены книги, поверхности покрывала пыль и паутина.

В таких условиях задача отыскать договор о заключенном между Григорием Нестреляевым и господином в цилиндре пари выглядела почти невозможной, но иного пути не оставалось, и я принялся за дело...

...вытер рукавом пот с лица и, отказываясь верить собственным глазам, прочел: *«Я, Сьщик (далее — Исполнитель), добровольно и в трезвом уме предлагаю, а я, Нестреляев Григорий Васильевич (далее — Наблюдатель), добровольно и в трезвом уме принимаю пари, согласно которому до конца следующего месяца Исполнитель гарантирует сделать Наблюдателя самым облаканным критиками актером Города и главной звездой его театрального мира. До Наблюдателя доведен способ (и Наблюдатель с ним полностью согласен), благодаря которому Исполнитель намеревается достичь упомянутого результата, и заключается который в гримировании Исполнителя под Наблюдателя и участии вместо Наблюдателя в репетициях и спектаклях на бесплатной основе.*

В случае достижения Исполнителем гарантируемого Им результата, Наблюдатель обязуется по первому требованию выполнить любое Его желание при дополнительном условии, что оно не будет сложным.

В случае провала Исполнителя и недостижения гарантируемого Им результата, Он по первому требованию Наблюдателя обязуется выпустить пулю себе в висок, ибо это не является сложным».

В договоре также указывалось, что он составлен в двух экземплярах, один из которых передается на ответственное хранение Исполнителю (выходит, мне), а другой — Наблюдателю (Нестреляеву).

Часть текста была написана почерком Григория (в чем я убедился, проведя сверку с многочисленными набросками, разбросанными по комнате), а часть, как будто, моим. Лист был слегка помятым, бледно-желтым и больше напоминал старинный пергамент, нежели современную бумагу.

Внизу стояли подписи обеих сторон, в том числе очень похожая на мою.

Я забрал этот договор с собой...

...в бешенстве ехал домой в экипаже.

Мимо проплывали каналы, мосты, площадь и ночные улицы Города, освещенные лукавым светом фонарей. Во мраке переулков поджидали добычу чьи-то изголодавшиеся тени. Под копытами лошади стучала брусчатка, и то мог бы быть единственный звук, нарушающий тишину.

Не окажись возница таким веселым и разговорчивым парнем, всячески пытающимся юморить и втянуть меня в беседу.

— Сделай одолжение, дружище, — бросил я в ответ на очередное словоизлияние, — замолкни. Думать мешаешь.

И повод крепко подумать действительно был.

Мало того, что до Зыменова (сомнений не было — это именно Зыменов, поскольку в договоре упоминалось гримирование) как-то добралась весть о моем к нему интересе, так он еще умудрился прознать, как я пишу и расписываюсь, а затем подкинул липовое соглашение в комнату Нестреляева.

Но как именно он добыл образцы моих почерка и подписи?

А как догадался, что появлюсь в жилище покойного актера? Чернецкая ему сказала?

Вполне возможно, что женщина с ним заодно, ведь о грядущем обыске у Нестреляева знала только она.

Но зачем в принципе Анне Степановне понадобилось провоцировать меня на этот обыск, когда гораздо проще было всего-навсего присоединиться к пустым и бесполезным показаниям других актеров, после чего, не втягиваясь в уединенный разговор, уйти?

Можно ли теперь доверять ее описанию внешности Зыменова (актриса сказала, что мы похожи), или это — часть дурного розыгрыша?

Только ли почерк и мое имя ложны в договоре? Сохранена ли при этом его суть? И, если исходить из того, что сохранена, по какой причине Зыменов взялся толкать бедного Нестреляева на суицид? И зачем актер ездил в Столицу?

Может ли в глазах Зыменова существовать некая взаимосвязь между Поэтом и Нестрелевым? По какой логике он преследует других людей?

Только ли мелкой пакостью в виде публикации пасквильной книги угрожает Поэту гри-мер?

Внутри росло чувство, будто меня пытаются водить за нос. Терпеть не могу, когда подобное случается.

Впрочем, отважившиеся на такую попытку смельчаки всегда потом горько жалеют...

...Я спросил Солдата, не выпьет ли он со мной.

Солдат, ерзая своим безногим телом на кухонном стуле, ответил, что с удовольствием выпьет.

Я положил на стол две рюмки и наполнил их водкой. Не чокаясь, мы влили в свои глотки сорокаградусный яд, после чего я повторно наклонил бутылку и перелил часть ее содержимого в хрусталь.

И мы с Солдатом вновь осушили посуду.

А когда я разлил водку уже по третьему разу, Солдат, перед тем, как выпить, спросил:

— За что мы пьем, командир?

— За ясность мысли, — ответил я.

Солдат рассмеялся. Рот его жуток, длинен и беззуб, но смех временами заразителен. Я, кажется, улыбнулся.

Пропустив очередную рюмку, я закурил.

Солдат сказал, что от него не укрылась возросшая частота, с которой я в последнее время веду записи в дневнике. Он поинтересовался, с чем это связано.

— Доктор велел. Сказал, что это полезно для мозга и успокаивает психику. Я от невроза лечусь, помнишь?

— Помню, — отвечал мне Солдат, глядя, по своему обыкновению, насмешливо. — Он у тебя, травматический, как принято говорить. А у меня вот с психикой все нормально. Кажется, с утратой целостности тела, она у меня даже улучшилась. Я вот все думаю, может это потому, что разум меньше отвлекается на работу конечностей, а? Так бывает же, командир? Ведь чем больше конечностей, тем значительней их присутствие, а чем значительней их присутствие, тем ошутимее для нас его тяжесть. Логично?

— Скорее, антинаучно. Любой дипломированный медик скажет, что отсутствие конечности должно тяготить сильнее, чем ее присутствие. А у тебя просто поехала крыша, чего ты не хочешь замечать.

— Игнорирование проблемы — отличный механизм защиты, командир. Многие люди очень довольны его использованием. И тебе он, кстати, нравится тоже.

— С чего ты взял?

— Ну вот сколько раз Вера намекала, что тебе пора бы на ней жениться?

— Изрядно.

— Во-от. Изрядно. А ты что? Просто закрываешь на это глаза. Игнорируешь проблему.

— Неправда.

— Правда-правда. Конечно, ты можешь сказать мне, что есть уважительная причина, которую ты озвучивал уже тысячу раз, но мы-то с тобой знаем, что такой причины нет, и ты ее не озвучивал.

— Такая причина, уверяю тебя, есть.

— Тогда напомни мне о ней, командир. Если, конечно, помнишь ее. По-дружески.

Оборзевший инвалид-нахлебник. Знает ведь все, а просит, чтобы я напомнил. Командиром меня называет, хотя я сто раз просил этого не делать. Сидеть и пить с ним стало вдруг до невозможности тошно. Солдат совершенно не ценит моего к нему отношения и той бескорыстной помощи, которую я оказываю, стесняя Веру и себя. Я пожелал ему спокойной ночи, а сам, затушив папиросу, отправился в спальню.

От Веры, как и всегда перед сном, пахло только что принятой ванной. А волосы ее были чуть мокрыми.

От меня же наверняка несло опиумом, водкой и только что выкуренным табаком.

Надо бы тоже помыться...

...Утром я тщательно осмотрел помещение, занимаемое моим агентством. Залез во все ящики, шкафы, сейфы и буквально в каждый темный уголок. Провел ревизию бумаг.

Все оказалось на должных местах, а следов чужого присутствия я не обнаружил.

Далее я обратился с расспросами к секретарше, и она, явно ошарашенная моей настойчивостью, чуть ли не поминутно описала вчерашний день.

После Поэта, уверяла она, никто не приходил.

Секретарша не врала. Она и не умеет, поэтому, будучи благоразумной, не пытается.

Пока у меня не было никаких предположений касательно того, как Зыменов смог так качественно симитировать мой витиеватый и сложный стиль письма. Если чужую подпись при наличии таланта еще можно подделать, едва на нее взглянув, то для высокочлассного копирования почерка со всеми его уникальными особенностями, требуется уйма времени и большое количество оригинальных записей для анализа.

Но в агентстве ничего не пропало, а дневник я всегда держу при себе.

Странно. Очень и очень странно...

...Осень на излете, и в Город предвестниками Ее Величества Зимы все чаще вторгаются холодные северные ветра, продувая улицы насквозь.

Меняясь, погода меняет и людей: все больше становится на них одежды, все быстрее они перемещаются из одной точки в другую, и все реже мне удается заметить в толпе улыбающуюся физиономию, поскольку очень трудно морщиться и улыбаться одновременно.

Не меняются только попрошайки: и одежды на них по-прежнему мало, и никуда они не спешат, ввиду того что уже давно пришли, и глаза их хранят то же отрешенно-скорбное выражение, что и всегда.

Никогда не прохожу мимо просящих милостыню (если уверен, конечно, что передо мной не жулик, а подлинно нуждающийся), поэтому, когда мне на глаза попалась согбенная под тяжестью лет старушка, укутывающаяся в видавшее виды пальто, дабы защититься от всепроникающего дыхания грядущих морозов, я немедленно положил на протянутую ей ладонь несколько монет.

Слабая и замерзшая она даже не смогла поднять на меня лицо, а только едва заметно кивнула в знак благодарности.

Потом я нашел свободный экипаж, и большую часть пути до театра, где мне снова нужно было поговорить с Чернецкой, преодолел в нем.

Но посещение театра оказалось тщетным: на очередном прогоне собрались все за единственным исключением — Анны Степановны, которая, никого не предупредив, просто проигнорировала репетицию. А эту женщину, по словам других членов труппы, всегда отличали обязательность и пунктуальность, поэтому и режиссер, и актеры прибывали в удивлении и некотором беспокойстве.

Адресом Чернецкой со мной поделились без каких-либо возражений, с уважением относясь к моему интересу делом Нестрелева, и он совпал с тем, что под диктовку актрисы я ранее записал в дневник.

Чернецкая проживает не слишком близко от театра, но все же на расстоянии пешей от него прогулки. Ей принадлежит квартира на первом этаже хорошего двухэтажного дома.

Несколько минут я постоял у входной двери, просто вслушиваясь, так как хотел убедиться, что актриса на месте. Но никаких звуков из квартиры не доносилось. Скорее всего, женщина все-таки внутри, думал я, но ведет себя тихо, чтобы не выдать присутствия (типичное для преступников поведение). Тогда, не рассчитывая, что мне откроют, я постучал — резко и громко. Я надеялся напугать Чернецкую, чтобы она шевельнулась, вскрикнула или любым другим неловким движением сказала мне: «Я здесь». Любой опытный сыскарь знает: если злоумышленник находится дома, он обязательно даст это понять, даже не желая этого.

Но внутри по-прежнему царило равнодушное безмолвие пустоты. Я не чувствовал за дверью ничего.

Чернецкой в квартире нет, понял я. И решил, представившись сотрудником театра, расспросить ее соседей.

Из всех них ценными сведениями смогла поделиться только невысокая юная художница, проживающая ровно над актрисой и трудящаяся сейчас над написанием пейзажа утреннего двора, ради которого встает очень рано и часто смотрит в окно.

По ее словам, Чернецкая незадолго до рассвета вышла из подъезда и куда-то (но точно не в том направлении, где находится театр трагедии имени Камедова) пошла. До этого дня в столь ранних выходах из дома актриса художницей замечена не была...

... Два часа я караулил возле дома Анны Степановны, притаившись за углом. Но потом решил бросить это дело, и навеститься в другой раз, поскольку суицид Нестрелева — лишь первая зацепка, а моего внимания дожидаются и другие.

В частности — Орден метафористов, на заседание которого однажды проник не кто иной, как Богдан Евгеньевич Зыменов. Вернее, человек, носящий такой псевдоним.

Поэт дал понять, что метафористы — люди заговорщически скрытные, и не будут делиться происходящим в клубе с первым встречным, поэтому у меня появилась идея проникнуть туда под легендой и втереться в доверие.

Хорошо, что до войны я немного писал стихи, и сберег дневник с ними. Проблем сойти за мастера (или хотя бы подмастерья) слова, подумал я, не будет.

Реализацию плана усложняла необходимость, чтобы за меня кто-нибудь поручился, но, кроме Поэта, из членов Ордена я никого не знал, а тот отношения с некогда соратниками категорически и навсегда разорвал.

Поэтому я решил обратиться к бывшей жене моего клиента — Музе. Эта госпожа — женщина яркая, светская, и, благодаря ушлым газетчикам, ни для кого не секрет, что она живет вместе с детьми в большом доме около Императорского парка. Я с легкостью смог бы найти этот дом, даже если бы Поэт не поделился со мной адресом экс-супруги.

Принимая во внимание тот факт, что Муза не отказала Поэту в его просьбе выведать у метафористов сведения о Зыменове, я пришел к выводу, что бывший муж до сих пор ей

небезразличен. По этой причине у меня не было сомнений, что, узнав, какая опасность (если предположить, что публикация псевдобιοграфической книги — не конечная цель Зыменова) ему грозит, она поможет в расследовании...

...Мигрень подступала. А Город становился угрюмей и злее: над ним одетыми в черные мантии судьями нависли монстроподобные тучи, отгораживая от солнечного света и обвиняюще тыча ледяными пальцами дождя. Стоял день, но под грозной тенью небесных образований ощущался он как вечер. Пешком я пересекал один из каналов, и он тихо молвил какое-то недоброе предсказание, но слов его было не разобрать.

Проход между какими-то старыми зданиями скалился будто вурдалак. Он явно приглашал ступить в его смрадную липкую пасть, намереваясь пережевать и навеки проглотить меня. Но я отвел взор и, не внемлив его зову, нащупал в кармане плаща спасительную флягу.

Допил остатки опиумной настойки.

Почувствовал облегчение.

И возобновил свой путь, закурив, поскольку дождь неожиданно ослаб и позволил спичке поделиться с папиросой огнем.

По дороге я вспоминал стихотворения, которые написал до войны. Как-никак я планировал внедриться в Орден метафористов...

...Муза — красивая женщина: у нее черные пышные волосы, внимательные глаза, что напоминают две темно-красные вишни и прячутся под длинными ресницами, веки, похожие на лепестки, и матово-белая кожа. Ростом она немного не дотягивает до среднего женского, но ввиду стройности и безупречной осанки кажется существенно выше.

Когда я пришел, Муза была одета в изысканное черное платье, а шею ее огибало ожерелье из белого жемчуга.

— Пройдемте в столовую, — предложила она, выслушав причину моего визита в ее дом.

Я проследовал за ней. Оказавшись в столовой, она наполнила чаем две чашки, одну из которых поставила передо мной, когда мы сели.

— Спасибо, — поблагодарил я и отхлебнул.

Муза сделала то же самое, и ее глаза на всем пути чашки от стола ко рту и обратно, словно притаившиеся в кустах опытные разведчики, следили за мной из-под длинных черных ресниц.

— Выходит, Поэт обеспокоен этим Зыменовым всерьез. А меня пытался убедить, что его интерес носит характер праздного.

— Он преуменьшил. И, боюсь, для его беспокойства имеются куда более веские основания, чем он сам полагает.

— Какие же?

— Могу я быть уверен, что детали этого разговора останутся между нами? Дело в том, что, до гримера очень быстро добралась информация о ходе моего расследования. В работе на него я кое-кого подозреваю, но, боюсь, это может оказаться не один человек. Поэтому никто из посторонних не должен узнать, что в нашей беседе затрагивалась тема Зыменова, а Поэт (на всякий случай) — чем конкретно я при этом поделился. Вы на это согласны?

Муза ответила утвердительно, и я ей доверился. Есть в этой женщине нечто дающее понять: она знает цену словам и обещаниям.

Я изложил ей все обстоятельства, из-за которых специалист по гриму представляется таким опасным: изощренное доведение до самоубийства Нестрелева, болезненную заинтересованность Поэтом, умелую подделку документов и неизвестной природы связь с метафористами, с заседания которых был странным образом вышвырнут мой клиент.

Оказалось, Поэт вообще не вдавался в подробности, когда просил Музу, используя надуманный предлог, выудить из бывших соратников информацию о Зыменове. Он не поведал ей

ни о смерти молодого актера, ни о преследовании, которому подвергся, ни об удивительной осведомленности незнакомца подробностями его жизни.

Поэтому к просьбе Поэта Муза отнеслась как к дурацкой прихоти и не выказала метафористам любопытства даже внешнею Зыменова. Впрочем, сказала Муза, отнесись она к делу и серьезно, члены Ордена все равно бы ничем с ней толком не поделились, ввиду того что скрытны, словно какое-то тайное общество.

Узнав от меня много нового, Муза не на шутку разволновалась, что скорее чувствовалось, нежели было видно, поскольку бывшая жена Поэта отлично владеет собой.

Я посвятил ее в свой план, согласно которому должен внедриться в Орден, притворившись ищущим творческий приют воином пера и чернил.

— Вы хотите, чтобы я свела вас с кем-то из них, так?

— Да.

Муза на полминуты задумалась, прикидывая, обращение к кому из метафористов имеет наибольшие шансы на успех.

Наконец, все взвесив, она вздохнула и сказала:

— Похоже, без Лозунговича не обойтись. Хорошая новость для вас: навряд ли он сможет мне отказать.

Я не стал спрашивать почему именно Лозунгович не сможет. Интуиция подсказывала: скорее всего, он питает к Музе романтический, но далеко не обоюдный интерес.

Вместо этого я попросил женщину охарактеризовать каждого члена Ордена метафористов, чтобы быть максимально подготовленным, если мой план сработает, и я окажусь-таки среди них.

Вот что она ответила:

— Большинство метафористов я знаю только по стихам. И, на мой вкус, стихи эти, в основном, бездарны. Ближе мне знакомы только Володя (это Лозунгович) и Рифмовщик, поскольку Поэт с ними дружил. Лозунгович — человек с виду надменный и холодный, но внутри он мягок, раним и вдумчив. Он во всем поддерживает Рифмовщика, даже когда в тайне с ним не согласен. Рифмовщик же — эта змея, пригретая на груди — завистлив, хитер и лжив. С того самого момента, как Поэт обосновался в Городе, этот подлец начал липнуть к нему и примазываться к славе, а мой наивный и тогда еще будущий муж искренне принял это за дружбу и во всем — начиная покупкой одежды (к слову Рифмовщик тот еще денди) и заканчивая изданием сборников — помогал. Как разошлись их пути, спросите вы? Все началось с того, что Рифмовщик воспротивился нашей с Поэтом свадьбе, пытаясь взрастить в его голове идею о несовместимости брака и творчества. Провалившись в этой затее, он тут же принялся за другую и уговорил моего мужа вступить в свой несчастный Орден, потому что тот увядал и явно нуждался в громком имени. Далее Рифмовщик ограничил Поэта жесткими рамками, которых, по его странному мнению, требует метафоризм, и которые в будущем отрицательно повлияли на лирику Поэта. Затем, будучи не только основателем Ордена, но и его бухгалтером, начал обкрадывать Поэта, являющегося, несомненно, самым талантливым и издаваемым членом этого убогого кружка, и приносящим в него больше остальных вместе взятых. После же всего этого, когда наш с Поэтом брак дал трещину, всевозможными сплетнями подлил масла в огонь, что не позволило нам примириться и подтолкнуло к разводу. А впоследствии Рифмовщик женился сам.

— Как женился? — удивился я. — Он ведь говорил, что творчество с браком несовместимо, и тоже пишет стихи.

— Да бросьте. Рифмовщик не пишет стихи, а просто рифмует слова.

Подводя итог своему рассказу, Муза посоветовала мне быть внимательным и не верить всему, что услышу, если у нее получится уговорить Лозунговича ввести меня в Орден.

Мы обменялись номерами телефонов, и я, получив от собеседницы обещание заняться оговоренным вопросом сегодня же, ушел...

...Звонок раздался практически сразу, как только я вошел к себе в кабинет.

— Сыщик слушает.

— Это Муза, — красивым сопрано ответили на другом конце провода. — Лозунгович готов встретиться с вами через два часа в кафе «Водевиль». Если понравится ему, то уже сегодня вечером он проведет вас на заседание метафористов.

— Я вам очень признателен.

— Найдите Зыменова, — чуть ли не приказала мне Муза и повесила трубку...

...По пути домой, где собирался облачиться в свой лучший костюм, дабы соответствовать модникам из Ордена, я заглянул в книжный магазин на Речном проспекте и приобрел там сборник, в котором есть стихотворения всех ярких представителей метафоризма, включая Поэта, Рифмовщика и Владимира Лозунговича.

До встречи с последним оставалось немногим менее двух часов, и я вполне мог выкроить тридцать минут на беглое ознакомление с ключевыми произведениями нужных мне авторов.

Творческие люди тщеславны, и я небезосновательно предполагал, что, польстив Лозунговичу знанием его поэзии и тем направлением, которого он придерживается, увеличу свои шансы на внедрение в Орден...

...Я стоял напротив Веры облаченный в наглаженный черный костюм и шляпу с короткими полями.

— Ну как? — спросил я.

— Как жених, — иронично и с легким укором ответила моя возлюбленная.

— Не начинай. Ты же все знаешь, к тому же я...

— Сто раз напоминал мне, — перебила Вера, поправляя мой галстук, — очевидную и уважительную причину, по которой мы, будучи, на твой взгляд, вместе, не можем стать такими по-настоящему.

— Но мы вместе по-настоящему. А не только на мой взгляд.

Вера нежно и с тенью грусти посмотрела на меня, после чего, прикоснувшись ладонью к моему лицу, ответила:

— Мой милый, ты, как всегда, ошибаешься. Подлинное «вместе» подразумевает брак, а ты...

— Не могу. Ты знаешь. Прости.

Вера улыбнулась и, поцеловав меня, ответила:

— Прощаю, мой милый. Я всегда буду тебя прощать...

...Кафе «Водевиль» находится неподалеку от площади Контрреволюции и считается модным заведением. Особенной популярностью оно пользуется среди чванливой избалованной молодежи и видных деятелей искусства, к которым, очевидно причислил себя и Владимир Лозунгович.

Я успел некоторым образом ознакомиться с его творчеством, пока собирался. Исходя из его стихотворений, напрашивался вывод, что человек он, мягко говоря, очень гибкий и с крайне непостоянной (я бы даже сказал — блудливой) моралью. Лозунгович писал, в основном, на темы политические, и очень много стихотворений посвятил гражданской войне, в той или иной степени коснувшейся каждой семьи в Империи и каждого в ней дома. Симпатии Лозунговича и армия, им поддерживаемая, менялись, судя по стихам, ровно столько же раз, сколько переходила в войне инициатива от одной стороне к другой.

Скользкий тип, понял я. Ненадежный.

На встречу я пришел первым и немного заранее. Заказал чашку чая и принялся ждать...

...в белом шарфе, замысловато намотанном на шею, и элегантном черном пальто к столу направлялся молодой мужчина с комически большими ушами. Он был среднего роста и узкоплеч, но от меня не укрылись его попытки выглядеть выше, шире и значительней. Стараний этих менее внимательный глаз мог, впрочем, и не заметить: грани образа, примеряемого мужчиной, явно оттачивались им давно.

В каждом движении преисполненный достоинства он остановился подле занятого мной столика и спросил:

— Вы от Музы?

— От Музы. А вы — Владимир Алексеевич? Автор великолепных «Белых всадников» и «Красной молнии»?

Уголки губ моего собеседника едва заметно дрогнули. Польщенный он принялся снимать верхнюю одежду, чтобы присоединиться ко мне за столом.

— Многие находят мои произведения конформистскими и противоречащими друг другу. Вы, получается, не из таких? — садясь напротив, спросил Лозунгович. При этом он испытующе сузил глаза и вперил в меня их.

— Сквозь обилие метафор не каждый увидит, насколько внутренне цельно и последовательно ваше творчество. Но я увидел. Поэтому — нет, я не из таких.

Лозунгович улыбнулся и сказал:

— Можно на «ты». Просто Володя.

«Просто Володя» заказал себе соте с куриным филе и грибами и бокал «Шато д'Икем».

Дела у Лозунговича идут неплохо, подумал я, отхлебнув чаю.

— Перейдем к делу. Ты хочешь вступить к нам в клуб, так?

— Не просто хочу, а мечтаю об этом.

— Раньше издавался?

— Нет.

— Позволь ознакомиться с твоими рукописями. Ты же принес их?

Я передал Лозунговичу свой исписанный стихотворениями дневник, который вел до войны, и следующую четверть часа Володя полностью посвятил ему, поэтому сидели мы молча.

Я внимательно следил за погруженным в мои строки метафористом, пытаюсь угадать, что он думает. Получалось это слабо: мускулы на гладкой физиономии Лозунговича упорно хранили неподвижность, лишая меня возможности толковать его мимику. Шевелились только лопухообразные Володины уши, но, как я понял, они в принципе живут сами по себе, и не являются выразителем мыслей хозяина.

И все же одно можно было сказать с уверенностью: Володя отнесся к прочтению моих стихов ответственно, и это приятно удивило, поскольку, идя в кафе, я ожидал от Лозунговича формализма, граничащего с брезгливостью, но никак не вовлеченности.

Видимо, Муза была крайне убедительна, когда рекомендовала меня. Ну и мой комплимент творчеству Лозунговича, полагаю, тоже сыграл определенную роль.

Володя отвлекся, когда ему подали заказанные соте и бокал вина.

— Знаешь, Сыщик, — орудуя столовыми приборами, перешел он, наконец, к выводам, — прочтенная поэзия мне по душе. Но кое-что не вяжется.

— О чем ты?

— Не сочти за оскорбление, просто... глядя на тебя, закрадывается сомнение, что эти прекрасные в своей глубокой образности и светлой наивности стихи написаны тобой. Нет, я несколько не сомневаюсь в уверенном владении тобой словом, но крайне удивлен, что на каком-то этапе своей жизни ты принял решение распоряжаться им так.

— Это старые стихи. Довоенные. Их писал я, но не я, понимаешь?

Лозунгович пристально посмотрел на меня и ответил:

— А продекламируй их. Только по памяти.

С полминуты я мысленно гадал, какое именно стихотворение произведет на моего собеседника лучшее впечатление, после чего, выбрав, стал читать...

...и, когда я добрался до последнего четверостишья, умиротворяющее и целебное воздействие опиума окончательно сошло на нет. Я почувствовал тяжелую беспощадную поступь мигрени, родившуюся в недрах мозга, а пестрое и яркое помещение кафе «Водевиль» вдруг стало еще более пестрым и ярким, но теперь как-то враждебно, навязчиво.

Посетители заведения и его сотрудники походили в тот момент на расфуфыренных и напомаженных чертей да бесов, и кто знает, может это и есть истинный их облик, а я давным-давно томлюсь в кипящих глубинах ада и лишь во сне вижу тот мир, в котором когда-то жил и действовал.

Расследовал какие-то дела.

Читал какие-то стихи.

Любил какую-то женщину.

Невероятным усилием воли я закончил декламировать и, взглянув на смутно знакомое существо с грандиозными карикатурными ушами, разобрал его слова, обращенные ко мне:

— Теперь я вижу, что ты не лгал. Ты читал так, как читают только своё. Я представлю тебя Ордену сегодня же. Но что с тобой? Нездоровится?

— Я лекарство забыл. Лечусь. От невроза.

Ушастое существо неприятно рассмеялось и промолвило:

— Так от невроза и я лечусь, хоть у меня его и нет. И лекарство никогда не забываю. С тобой поделиться?

Я кивнул, после чего обнаружил в ладони невесть откуда появившуюся бутыль.

— Вот, глотни, — сказала существо.

Я подчинился, и мир постепенно вернулся к нормальному состоянию. А мигрень прошла.

— Заплатишь за ужин? — спросил Лозунгович. — А то ты полбутылки у меня выпил...

...Несложно найти красоту в Городе. Но красота эта своеобразна, потому что походит на сон безумца, в который проникла с идеями могущественная темная сила. Город загадочен в бесконечности слабо освещенных улиц. Город изыщен в архитектуре мрачных готических зданий. Город гипнотичен в шепоте своих вод. Город манит вниз, в беду и ужас, но делает это искусно, будто величайший соблазнитель. Город поглотил и переваривает наивных глупцов, считающих его своим надежным домом.

Наиболее полно красота Города раскрывается поздней осенью, когда сама природа облачает его в пасмурный наряд увядания и смерти. Тогда он окончательно сбрасывает с себя ненужную, навязанную мишуру в виде листьев на деревьях, трав и цветов, устилающих парки, бликах солнца на поверхностях. На гигантском теле Города остаются лишь черная кривизна линий и тени, вечно блуждающие по этой кривизне. Город обретает полную гармонию.

Внутри данной гармонии мы с Лозунговичем ехали в сторону поместья, где собираются метафористы. Володя сначала был весел и постоянно шутил, а я, всё больше силясь понравиться, поддерживал его в этом. Но, когда мы проезжали мимо дома одного известного ростовщика, мой спутник отчего-то разволновался, что попытался от меня скрыть.

Но мои чувства после рекордного количества опиума, принятого в кафе «Водевиль» были тонизированы настолько, что я расслышал, в каком бешеном ритме колотится его сердце.

— Ты взволнован, Володь. Что-то случилось?

Лозунгович кое-как выжал из своего лица беззаботную улыбку и ответил:

— Все в порядке. Просто увидел в окне дома старого друга...

...Когда мы добрались до поместья, уже совсем стемнело. До начала заседания Ордена оставался час, и внутри кроме Рифмовщика никого пока что не было.

Он сидел за круглым столом лицом к входу и строго напротив него, но, заведя нас, встал и подошел.

Внешне Рифмовщик представляет собой высокого худого и слегка угловатого мужчину, одевающегося по последнему писку моды. Его лицо овально и продолговато, а свои черные волосы он покрывает лаком и зачесывает на пробор. Взгляд карих глаз Рифмовщика надменен и вместе с тем любопытен: он как будто изучает вас, прикидывая, чем вы можете быть полезны.

Такой взгляд ощутил на себе и я, когда, тепло поздоровавшись с Лозунговичем, Рифмовщик обратил на меня внимание.

— Новенький? — спросил он, обращаясь к Володе, но глаз при этом не сводя с меня.

— Знакомся, это — Сыщик. У него отличные...

— Где издавался? — перебил Лозунговича Рифмовщик.

— Пока не издавался, — подключился, наконец, я, — но и отказов от редакций не получал. Дело в том, что я только планирую явить свои стихи общественности. И начать по известной причине решил именно с вас.

— И что это за «известная причина»?

— Метафористы — самое значимое и авторитетное литературное общество Города. Я хочу ассоциироваться с ними с самого начала своего писательского пути. Кроме того, я восхищен членами Ордена как творцами и считаю, что многому смогу у них научиться.

Дешевый подхалимаж сработал на Рифмовщике так же хорошо, как до этого на Лозунговиче, ибо ледяные нотки его голоса чуть смягчились, когда он, многозначительно переглянувшись с моим рекомендателем, попросил у меня дневник со стихами.

Прочитав несколько страниц и вернув записи, он заявил:

— Это весьма перспективно, Сыщик. Конечно, слегка не ограненно, выражаясь языком ювелиров, но мы над этим поработаем. Я готов принять вас в Орден, но прежде обязан зачитать его правила и получить от вас согласие с ними, чтобы потом не было недопониманий.

— Я весь внимание, — ответил я с наигранной радостью.

Далее были принесены документы, в которых скрупулезно описывается весь уклад жизни Ордена, и воспоследовал длительный рассказ о недавно принятой декларации метафоризма и ее ключевом постулате, что безапелляционно заявляет о главенстве формы над содержанием и витиевато размазан аж на десяти страницах. Рифмовщик спросил, согласен ли я с приведенными утверждениями, и я ответил, что согласен, после чего поставил под декларацией свою подпись.

Затем Рифмовщик обрисовал мне финансовую политику клуба. Если вкратце, она гласит, что со всех доходов от издания произведений Орден метафористов взимает с тех, кто в нем состоит, двадцать пять процентов, чтобы покрывать расходы на аренду поместья, оплачивать рекламу метафоризма как течения в различных газетах и пополнять фонд помощи членам Ордена.

— То есть в сложной жизненной ситуации можно обратиться? — удивился я.

В ответ Рифмовщик перечислил редкие случаи, в которых обращение допускается. Почти во всех фигурировало слово «смерть» или «инвалидность».

Я сказал, что финансовая политика меня устраивает и подписался под ней.

Последним, что довел до меня Рифмовщик, был внутренний регламент Ордена: он регулирует частоту собраний, порядок принятия решений и прочие малоинтересные бюрократические моменты. Выслушав лекцию обо всем этом, я снова оставил подпись под документом, обозначив согласие. Тогда Рифмовщик протянул мне ладонь для рукопожатия и произнес:

— Поздравляю! Вы приняты в наше скромное сообщество.

Стиснув его худую руку, я с удивлением обнаружил, что она не так слаба, как мне думалось...

...Круглый стол постепенно заполнялся. Я сидел рядом с Лозунговичем в нескольких стульях от Рифмовщика. Входящие особо не обращали на меня внимания, достаивая лишь мимолетным взглядом в момент, когда здоровались.

Творческие люди выглядят по-разному, но их всегда можно узнать в толпе благодаря одному общему поведенческому признаку: большую часть времени они смотрят не на мир вокруг, а как будто вглубь самих себя, лишь изредка отвлекаясь на прохожих, детали обстановки или природу, чтобы запомнить все это и потом запечатлеть в произведении, будь то симфония, стихотворение или же прозаический текст.

Таковыми — погруженными в собственные мысли — предстали передо мной и все удостоившие заседание присутствием метафористы, вне зависимости от того, насколько бедным или преуспевающим выглядел каждый из них.

Одновременно с прибытием членов Ордена, прислуга начала сервировать стол бокалами и подносить бутылки с вином. «Насухую», пришел я к заключению, заседания в клубе не проводятся...

...Рифмовщик произносил торжественную речь, приуроченную к изданию на днях крупного сборника со стихами и поэмами метафористов. Во время нее он одной рукой держал на уровне головы толстую книгу, а другой активно жестикулировал. Глаза Рифмовщика блестели при этом так, словно он являлся не лидером творческого кружка, а вербовщиком секты.

Закончив речь, он предложил выпить за сборник, что все и сделали.

После этого он попросил каждого рассказать о творческих планах и перспективах напечатания. Ту часть присутствующих, которая сообщила о ведущихся переговорах с редакциями, Рифмовщик удостоил словами поддержки и похвалы, уточняя при этом сумму возможного гонорара и напоминая о необходимости выплаты Ордену двадцати пяти процентов. Остальных же — тех, кого издательства отвергали — Рифмовщик весьма обидно, хоть и аккуратно подбирая при этом слова, критиковал.

Когда дело дошло до меня, он сказал:

— Тебе нужно показать свои стихи главреду «Утренней звезды», ему должно понравиться. Но перед этим я их немного подкорректирую, а то местами они «суховаты», образности не хватает. Договорились?

— Да.

— Вот и славно...

...декламировали, обсуждали продекламированное и пили, декламировали, обсуждали продекламированное и пили. Причем лестность оценок прочтений друг друга возрастала с количеством опустевших бутылок вина...

...Когда я закончил и под бурные аплодисменты раскрепощенных выпивкой братьев по перу сел, кто-то спросил:

— А кем ты вдохновлялся, если не секрет?

— Да много кем, — непринужденно отвечал я, — и Рифмовщиком, и Поэтом, и вот Володей... Но больше всего — Зыменовым Богданом. Присутствующим навряд ли доводилось слышать это имя, поскольку человек, как я понимаю, пишет исключительно для себя, но несколько самиздатовских собраний его сочинений все-таки курсирует по Городу, и при желании их можно найти. Что крайне рекомендую сделать всем, кто хочет быть на острие поэзии.

Собравшиеся как будто сразу протрезвели. С десяток пар глаз пристально смотрели на меня.

— Что? — играя недоумение, поинтересовался я.

— Да видели мы твоего Зыменова, — процедил Рифмовщик. — Приходил, негодник. Но ни одного стиха так и не прочитал и не думаю, что кто-либо из нас захочет с ними ознакомиться. Так что в своем восхищении им ты, вероятно, останешься одинок.

— Но, позволь, как можно появиться на заседании Ордена и ничего при этом не прочитывать? Кто же поручится за такого субъекта?

На мои вопросы Рифмовщик ответил следующее: в поместье Зыменова провел не кто иной, как Поэт, который на злополучное заседание опоздал. Причем в дверях члены клуба заметили лишь самого Поэта, а спутник его, видимо, прятался за спиной, поскольку присутствие одного вскрылось только тогда, когда Орден уже принялся за написание декларации метафоризма.

Внешне Зыменов очень походил на Поэта, но был несколько румяней и ниже. Он сидел на соседнем с Поэтом стуле и принимал активное участие в написании декларации, все время споря с главным ее принципом — главенством формы над содержанием.

Поэт же, держась подчеркнуто прямо и не испытывая ни единой проблемы с дикцией, был все-таки явно пьян уже в момент своего прибытия, поскольку отказался снять цилиндр и глядел на окружающих насмешливо и свысока. Над декларацией он откровенно смеялся, но подпись его под ней в итоге потом обнаружилась (в отличие от подписи Зыменова, который все время спорил).

Во время прочтений Зыменов, в основном молчал, лишь изредка вставляя комплементарные реплики в ответ на тот или иной чей-то стих.

Но когда очередь дошла до Поэта, и тот (очевидно, спьяну) стал осыпать братьев по перу хитро замаскированными, но таящими бесконечную едкость строфами, Зыменов в какой-то момент вспылil (решив, видимо, что речь зашла о нем, хотя Поэт проезжался в ту минуту по самому себе) и, закричав, что это уже чересчур, кинулся на него.

Тогда Зыменова пришлось вышвырнуть за дверь с требованием больше не появляться.

А следом за ним, не потрудившись даже выдумать причину, ушел и Поэт.

— А где он, кстати? — спросил я.

— С тех пор больше не удостаивал нас присутствием. Он человек свободолюбивый и непредсказуемый: когда хочет, приходит, когда хочет, уходит. За былые заслуги я прощаю ему некоторую ветреность.

— Но послушай, — обратился я к Рифмовщику, — не думал ли ты, что он игнорирует Орден из-за чего-то еще? Не приходило ли тебе в голову, что, учитывая внешнее сходство Зыменова и Поэта, вы могли вышвырнуть не того человека?

Глаза Рифмовщика блеснули подобно холодной стали, когда, посмотрев на меня, он многозначительно ответил:

— Поверь мне, новенький: я точно знал, кого спускаю с лестницы...

...шли с Лозунговичем по ночному Городу. Я изъявил желание его проводить.

Неслабо опьяненный я соображал ту же обычного, но все же пришел к однозначному выводу: специалист по гриму прикинулся Поэтом и вместе с остальными выгнал из поместья Поэта настоящего, выдав того за себя.

Подозрительным на этом фоне казался Рифмовщик: уж больно неоднозначно истолковывалась его фраза о спуске Поэта с лестницы, брошенная в ответ на заданный мною вопрос.

Может ли он быть соучастником Зыменова наряду с актрисой Чернецкой? И зачем ему понадобилось избавляться от Поэта, если тот, по словам Музы, приносит Ордену существенную прибыль?

— Слушай, Володь, — обратился я к своему спутнику, когда мы подходили к одному из переулков, через который решили срезать путь.

— Да?

— А с чего вдруг Поэт является на заседания по своему усмотрению? Что это за исключения такие?

Лозунгович ответил, что причина кроется в глубокой признательности, которую питает Рифмовщик к Поэту. Последний, являясь большой самостоятельной звездой, в наиболее провальном для Ордена период откликнулся на дружескую просьбу Рифмовщика и связал свой литературный путь с метафористами, сам факт чего обеспечил клубу и его участникам внимание и признание со стороны критиков. Метафористов стали издавать сначала в сборниках, где их имена стояли в одном ряду с именем Поэта, а затем и по отдельности. В результате метафоризм превратился в главное литературное течение Города, влияющее на умы его жителей и задающее тон его творческой жизни.

— Так что он — действительно исключение, — резюмировал Лозунгович.

По всей видимости, расчетливость Рифмовщика пребывала в глубоком конфликте с его жадностью до славы, и именно поэтому он, дождавшись, конечно, времени, когда Орден окреп, и потеря Поэта уже не может ударить по финансам смертельно, и решил выгнать затмевающего его метафориста, убедив остальных (дабы не показаться неблагодарным), что на самом деле выгнан какой-то там Зыменов. Хитро.

Но было ли появление гримера все же спланировано Рифмовщиком заранее, или тот лишь ловко симпровизировал, сумев различить, кто есть кто? Вопрос пока без ответа...

...В конце переулка мы увидели высокий силуэт. В лунном свете он отделился от одной из стен, словно обрывок тьмы, решивший вдруг обрести самостоятельность. У силуэта был костыль, а у костыля — мерный стук о брусчатку, подобно тиканью часов знаменовавший приближение к нам фигуры незнакомца.

Лозунгович пришел в ужас: кожа его побелела, а ореол значительности, которым он так старательно окружал себя при помощи манер и жестов, растворился. Даже гордые и самостоятельные Володины уши как будто слегка уменьшились.

— А пойдем назад, — обратился он ко мне, — я передумал сокращать путь. Прогуляться хочу.

Хоть я и принял испуг моего спутника за впечатлительность творческого человека, спорить все же не стал, и мы развернулись.

Но позади нас уже стояли еще два незнакомца. Без костылей, но с дубинками.

— Не спешите, — спокойным и не терпящим возражений тоном, сказал один из них, — в некоторых делах спешка может навредить.

Помимо дневника я всегда ношу при себе две вещи: парабеллум и выдвижную дубинку с утяжеленным наконечником. В кипящих преступных окраинах и тем и другим мне доводилось пользоваться далеко не единожды, и сноровка у меня высока. Данный факт многие подтверждали бы с большой горечью... а иные и вовсе не смогли бы подтвердить.

Но, пока преградившие нам путь всего-навсего болтают, не буду развеивать их иллюзию, что они в безопасности, решил я. В конце концов, мало ли они от Зыменова и перед нападением скажут что-нибудь важное?

— Что же ты, Володь, мимо-то проехал? — подал теперь голос человек с костылем, подошедший вплотную и остановившийся за нашими спинами. — Видел же Петра Михайловича. Он тебе даже помахал из окна.

Ни от какого они не от Зыменова, огорчился я. Речь шла о Вашаеве. Том ростовщике, мимо которого мы с Лозунговичем проезжали, добираясь на собрание метафористов. Мой спутник тогда заметно распереживался, что всячески пытался скрыть.

— Я очень торопился, — отвечал Лозунгович, — и мне показалось, Петра Михайловича нет дома. У него свет не горел.

— Не лги, малец. Мы не твои друзья-рифмоплеты, и верим только делам. А дело у нас к тебе простое: Петр Михайлович ждет свои деньги. Сегодня. Сейчас.

Тут я вдруг понял, что знаю голос мужчины с костылем.

И, когда обернулся к нему, костыль свой он сразу выронил...

...Мы удалялись от того переулочка, где нас ненадолго задержали вымогатели, и Лозунгович ожидаемо вопрошал:

— Что это было? Почему он тебя испугался?

Я не стал рассказывать Володе, что Лис стал хромым благодаря мне, когда точно также, но с куда большей численностью подручных, подкараулил меня, в целях добывания значимых сведений бродящего от кабака к кабаку по Холмовому проспекту, и в отместку за мою полицейскую деятельность напал.

Вместо этого я ответил:

— Нам повезло, Володь. Он меня с кем-то перепутал.

Лозунгович долго противился моей лжи, но в итоге, осознав тщетность своих усилий докопаться до правды, решил просто отблагодарить:

— Не хочешь — не рассказывай. Но все равно спасибо, — сказал он мне. — Даже не знаю, как расплатиться-то с тобой.

— Отдай мне бутылку с опиумом. Утром она мне понадобится, а дома всё кончилось...

...Так сложилось, что мой невроз, будучи весьма разнообразным с точки зрения симптомов расстройством, давно пустил свои гнусные корни в то, что некоторые философы от медицины называют главной плоскостью человеческой личности. В хранилище потайных желаний и скрытых движущих сил. В подсознание.

И, прорастая внутри, невроз все больше и больше его уродовал. Я понимал это по своим кошмарам.

Той ночью кошмары мои были нетипичными и какими-то особенно жуткими, несмотря на то, что чудовищам места в них не нашлось.

В одном из снов я стоял у окна дачного дома, в котором иногда жили мы с Верой до войны, и смотрел на заходящее солнце и багровеющую в его лучах землю.

— Что там? — Вера указала пальцем на бледную выпуклость, образовавшуюся вдруг на обманчиво-красной из-за солнца траве.

Я вгляделся получше и понял, что это чей-то лежащий боком к нам труп.

— Смотри, и там, — возлюбленная обратила свой палец на другую бледную выпуклость, находящуюся на большом удалении от первой и тоже оказавшуюся трупом.

С возросшим вниманием продолжив наблюдать за полем, очень скоро я в ужасе убедился, что количество трупов постепенно растет, и там, где минуту назад не было ничего, кроме призрачно-алых трав, уже в следующую распространяется одно или два иссиня-белых тела.

— Они возвращаются, — говорила Вера, — напоминают тебе о себе.

— Знаю, — почему-то отвечал я.

С каждым мгновением наткнуться взором на мертвеца становилось все легче и легче, а найти свободный от трупа участок земли наоборот сложнее.

— Они падают с неба, потому что наверху тесно. Их исторгает земля, потому что внизу еще теснее, — пугающе-буднично продолжала Вера. — Ни то ни другое больше не может хранить в себе столько.

В какой-то момент трупы стали наслаиваться друг на друга, и под всей этой толщей ни одного клочка травы разглядеть теперь было невозможно. Все было в мертвых телах, начиная от окна дачи и до самого горизонта. Море тел.

Среди них я видел и знакомых: там лежали павшие в бою враги и сослуживцы, преступники, убитые в перестрелках, и жертвы этих преступников, а также многие другие.

— Не отводи взора, милый, — сказала моя возлюбленная.

— Но я и не отводил, — ответил я, обернувшись к ней.

Но ее не было. Была только пустая комната. И я вновь посмотрел в окно.

На горе трупов, в знак воинского приветствия прислонив единственную уцелевшую конечность — правую руку — к шапке-ушанке, стояло, улыбалось и говорило мне что-то последнее живое существо этого сна.

Слова Солдата доносились до меня лишь слабым отзвуком, поэтому я начал вглядываться в движения его беззубого длиннющего рта, чтобы разобрать их.

И вдруг осознал, что Солдат непрерывно произносит одну и ту же фразу:

— Он просыпается, командир. Он просыпается, командир. Он просыпается, командир...

Я не понял, о ком он.

Не знаю, кто просыпается.

Не помню...

...Разбудила меня не то похмельная, не то невротическая мигрень, не то обе сразу. И в поисках заветного зелья, способного, ввиду содержания в себе и опиума, и сорокапятиградусного алкоголя, помочь в любом из трех случаев, я добрался до кухни.

— Как спалось, командир? — своим вечно ехидным тоном поинтересовался со стула Солдат.

— Неважно. А тебе как... бодрствовало? — я чуть было тоже не сказал «спалось», но вовремя вспомнил, что Солдат никогда не спит.

— Прекрасно. Всю ночь в окно смотрел.

Я еще не до конца пробудился, и мои пьяные сны наслаивались на объективную реальность, местами даже замещая ее. Поэтому в ответ на последнюю реплику Солдата я задал совершенно идиотский вопрос:

— Но почему ты делал это снаружи, а не изнутри?

Мой увечный сослуживец глумливо рассмеялся, указывая тем самым на полнейшую разбитость моего состояния, и ничего не ответил. Тогда я понял, какую сморозил глупость, и решил ничего более не говорить.

Тем временем на одной из полок отыскалась настойка...

...По пути в агентство увидел просящую милостыню бабушку. В том же изношенном пальто, спрятав в него лицо от ветра, эта пожилая дама стояла здесь и вчера.

Мне вспомнилось, что неподалеку есть Андреевская богадельня — довольно известный в Городе приют для глубоко старых, неизлечимо больных и безнадежно нищих. Я подошел к несчастной и вызвался проводить ее дотуда, посчитав, что она не знает о существовании такого места.

Но бабушка только отрицательно помахала головой в ответ на мое предложение.

Удивительно, подумал я, и вложил в ее ладонь пару монет.

Голова старухи тихонько качнулась в благодарном кивке...

...поступали первые и очень детальные сообщения от моих маленьких, но прекрасно обученных агентов, которым я поручил выведать информацию о пассажирах рейса Сто-

лица-Город, на котором покончил с собой актер Нестреляев, и узнать, не ходит ли по неблагополучным районам слух о талантливом авантюристе Богдане Евгеньевиче Зыменове.

Пока ничего интересного ребята не выяснили: улицы про гримера молчали, а граждане со злополучного поезда, отработанные за минувшие два дня, оказались либо заурядными флегматичными семьянинами, либо боящимися собственного отражения унылыми клерками, либо малообразованными работягами, бесконечно далекими от интриганства и перевоплощений.

Кем-либо из проверенных лиц (с учетом исчерпывающих подробностей, которые представили о них мои агенты) Зыменов быть никак не мог.

Но большинство мальчишек о ходе задания пока не отчиталось...

...Сначала намеревался посетить кладбище, на котором состоялась последняя встреча Поэта и Зыменова, и поговорить с могильщиком, но потом решил все-таки заняться Анной Степановной Чернецкой, поскольку ее возможное соучастие в деятельности неуловимого гримера не давало никакого покоя моему разуму.

В театре она опять не появилась, и его сотрудники все сильнее тревожились, так как неоднократно навещали к коллеге домой, но дверь она ни разу не открыла.

— Она долго сдерживалась по поводу Гриши, — предполагала одна из актрис, — но, видимо, настал такой момент, когда бедняжке просто необходимо побыть с горем наедине.

Ну-ну, подумал я и отправился к дому Анны Степановны.

Но в квартире ее опять не оказалось.

А художница, что проживает над ней и, рисуя новую картину, часто смотрит в окно, не видела актрису со вчерашнего дня, когда она ранним утром вышла из подъезда.

Не очень обнадеживающие вводные, мысленно сокрушался я, блуждая по двору и ища наиболее выгодную обзорную точку, преисполненный упрямого стремления дожидаться возвращения Чернецкой...

...была уже глубокая ночь. Проголодался и очень устал.

За весь день я ни разу не сдвинулся с удачно выбранной позиции и не спустил глаз с подъезда, но Анну Степановну так и не увидел.

Предел есть решительно всему. И сыщикам тоже иногда требуется спать (даже если сны у них кошмарные), поэтому в итоге я отлип от стены, на которую облакачивался и пошел искать экипаж, чтобы добраться на нем на Речной проспект, в районе которого живу.

Выйдя на широкую улицу из арочного проулка, целая сеть которых подобно сосудам пронизывает кварталы вокруг театра трагедии имени Камедова, за поворотом я врезался в кого-то малорослого, кого из-за обусловленной переутомлением невнимательности не заметил.

Опустив взгляд, я с удивлением обнаружил перед собою ту самую старушку, которая два дня подряд получала от меня милостыню неподалеку от агентства.

— Далеко же вас занесло, бабуль, — обратился я к ней.

Она подняла глаза, и пространство слева от меня тут же вздрогнуло и блеснуло острием кинжала.

Затем был звук рассекаемой плащевой ткани, прямо возле моей шеи.

Потом был ненавидящий взгляд Чернецкой, пересекавшийся с моим, когда я падал вниз, обмякая.

Далее была кровь, текущая из раны, и я держался за горло.

После были звездное небо, сыпаемые мне на лицо монеты, нависающий силуэт талантливой актрисы Анны Степановны, что одурачила меня притворной старческой согбенностью да ветхим пальто, и брошенное ею слово:

— Сдохни.

А в конце были только стук ее каблуков и изящный абрис фигуры, углубляющийся во тьму арочного проулка...

...Холодный ночной воздух обжигал мое лицо, невольно вторгающееся все глубже и глубже в его течения, и выбивал слезы из глаз.

Внизу чернели каналы и тротуары, угрожающие целились мне в живот острые шпильки башен, а сверху слышались плавные движения взбивающих пространство каменных крыльев.

Четыре твердые лапы удерживали мое тело от падения, причем одна из них за шею, замедляя ток крови из рассеченного участка.

Я летел над Городом, и полет этот меня пьянил. Хотелось просто молчать и наслаждаться внезапно обретенной свободой и невыразимо прекрасной окрыленностью тела и духа. Хотелось раствориться в ветрах и стать одним из них — необузданным, беспечным и вечным. Хотелось оставить все позади... нет — внизу.

— Куда мы? — все же спросил я зачем-то горгулью.

— Экскурсия, — проскрежетала она в ответ.

— Но мне вроде к Доктору надо. Я кровь теряю.

— Не переживай, я тебя доставлю к нему.

— Ты только что пролетела над его домом.

— Время еще есть. Сначала экскурсия.

Когда мы пролетели над центром, горгулья сменила курс, и приступила к медленному снижению. Спустя минуту мы были уже не равными луне наблюдателями свысока, а вновь насекомыми, что копошатся в плоти темного живого монстра под названием «Город».

Немногочисленные прохожие, завидев нас, то шарахались, то падали в обморок, то, сопровождая полет взглядом, крестились.

Преодолев множество поворотов, мы подлетели к зданию родильного дома и зависли на высоте его третьего этажа.

— Гляди, — уставившись в одно из окон, сказала горгулья, — только что родился мальчик.

Вслед за горгульей я направил взгляд сквозь стекло и увидел, что акушер и вправду держит в руках крохотного новорожденного, говоря при этом:

— Поздравляю, у вас мальчик. Как назовете?

— Сыщик. Это маленький Сыщик, — отвечал мягкий женский голос.

— А какое отчество вписать?

— Не надо отчества. Просто Сыщик.

— Полетели дальше, — сказал я горгулье.

— Как скажешь.

Мы двинулись в сторону Императорского парка, приблизившись к земле настолько, что уже фонарные столбы возвышались над нашим полетом, хотя еще недавно такое могли себе позволить только небесные светила.

Обгоняя какой-то экипаж, тут же утонувший в нашей огромной хищной тени, мы обдули его исходящим от крыльев потоком воздуха, сорвав тем самым шляпу с головы возницы и ввергнув в ужас и его самого, когда он нас заметил, и лошадей.

В парке мы петляли между высоких елей, нагло вороша ночную гармонию природы, и парили вдоль тропинок, преступно разбивая любовную ауру вокруг немногих гуляющих пар. В самом центре парка горгулья на секунду отпустила мою шею и на полном ходу врезала когтистой лапой по лицу памятника Императору, оставив на нем глубокие и испачканные моей кровью прорези.

— Зачем? — осведомился я.

— Ты так хотел, — ответила горгулья.

— Я воевал на его стороне.

— Да. Но все же ты так хотел...

...Зависли над землей чуть поодаль от молодого человека и девушки.

Он очень походил на меня, только был сильно моложе, а она — на мою вечно юную Веру.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.